

ЕВРЕЙСКИЙ ДАМЕРТОН

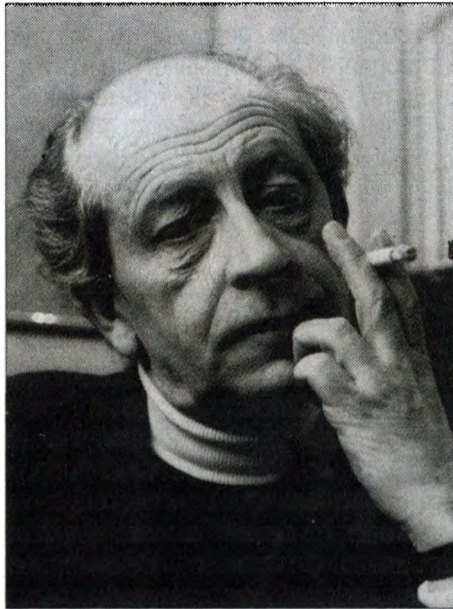
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

О ВЫНУЖДЕННОСТИ И НЕВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ ЕВРЕЕМ

Окончание.
Начало в предыдущем выпуске

Жан АМЕРИ

Процесс, как я говорил, продолжался и продолжается. Пока он для меня еще не выигран и не проигран. После падения национал-социалистского рейха в мире наступил недолгий период, когда я мог думать, что все в корне поменялось. Тогда я мог недолгое время тешить себя иллюзией, что мое достоинство восстановлено в полном объеме, благодаря моей собственной, пусть и весьма скромной деятельности в Сопротивлении, благодаря героическому восстанию в Варшавском гетто, но прежде всего благодаря презрению, какое весь мир выказывал тем, кто лишил меня достоинства. Я мог считать, что лишение достоинства, которое мы извели, было исторической ошибкой, aberrацией, мировым коллективным заболеванием, от которого мир излечился в тот миг, когда немецкие генералы подписывали в Реймсе перед Эйзенхауэром акт о капитуляции. Но вскоре я понял, что все куда хуже. В Польше и на Украине, как раз когда начали находить массовые захоронения евреев, происходили антисемитские беспорядки. Во Франции всегда неустойчивая мелкая буржуазия подцепила заразу от оккупантов. Когда возвращались беженцы и уцелевшие в лагерях и требовали назад свои прежние жилища, простые домохозяйки порой приговаривали с совершенно особой смесью удовлетворения и досады: "Tiens, ils reviennent, on ne les a tout de même pas tous tués"¹. Даже в странах, которые ранее практически не знали антисемитизма, например в Голландии, как реликт немецкой пропаганды внезапно возникла "еврейская проблема"



при почти полном отсутствии евреев. Англия заблокировала подмандатную ей Палестину для вызволенных из лагерей и застенков евреев, которые пытались туда переселиться. Очень скоро мне пришлось признать, что мало что изменилось, что я по-прежнему жил под отсроченным смертным приговором, пусть даже потенциальный палач теперь осмотрительно отступил в тень или даже громко уверял, что осуждает случившееся.

Я понимал эту действительность. Но могла ли она побудить меня, как принято говорить, разобраться с антисемитизмом? Вовсе нет. До антисемитизма и еврейского вопроса как исторических, социально обусловленных, духовных явлений мне не было и нет дела. Они целиком и полностью дело антисемитов, их срам или их болезнь. Справляться с этим надо антисемитам, а не мне. Я бы только подыгрывал им в их грязной игре, если бы вздумал исследовать, какова доля религиозных, экономических и прочих факторов в преследовании евреев. Пустившись в подобные исследования, я бы только

попался на удочку интеллектуального обмана так называемого исторического объективизма, согласно которому вина замученных не меньше, чем вина убийц, если не больше. Мне нанесена рана. Я должен ее продезинфицировать и перевязать, а не раздумывать, почему тот, кто меня ударил, занес дубину, докопавшись до причины, не начинать мало-помалу его оправдывать.

Антисемиты меня не интересовали, мне надлежало разобраться с собственным существованием. И это было достаточно сложно. Возможности, открывшиеся передо мной в годы войны, уже исчезли. В 1945-1947 годах я не мог нацепить желтую звезду, не прослав при этом нелепым и экзальтированным. Невозможно и ударить врага кулаком по лицу, потому что его стало не так легко распознать. Возвращение достоинства, столь же насущное, как и в минувшие годы войны и национал-социализма, но бесконечно более труднодостижимое в атмосфере обманчивого мира, оставалось настоятельно необходимым и вожделенным.

Только мне требовалось более четкое, чем в дни возможного как-никак физического бунта, понимание, что я оказался в ситуации вынужденности и невозможности.

В этом месте я должен на миг сделать паузу и отмежеваться от всех тех евреев, которые высказываются, опираясь на другой, отличный от моего, опыт. В своей книге "La condition reflexive de l'homme juif"² французский философ Робер Мизрахи писал: "Катастрофа нацизма и впредь будет абсолютной и радикальной референцией для каждого еврея". Без сомнения так, и все же я убежден, что не каждое еврейское сознание доросло до этого. Осознать происшедшее в 1933-1945 годах способны только те, у кого за плечами

такая же судьба, как моя. Я говорю это без гордости, боже сохрани. Смешно кичиться тем, что не действовал, а лишь терпел. Мне скорее даже стыдно заявлять о моей печальной привилегии и подсказывать вывод: катастрофа, конечно, является экзистенциальной отправной точкой для всех евреев, но духовно осмыслить это катастрофическое событие и спроецировать его на будущее можем только мы, принесенные в жертву. Попытки проникнуть в суть происшедшего никому не заказаны. Пусть люди поразмыслят о судьбе, которая вчера могла, а завтра может стать их собственной. Их духовные усилия вызовут у нас уважение, но скептическое, в разговоре с ними мы скоро умолкнем и скажем себе: что ж, люди добрые, бейтесь сколько хотите, все равно вы рассуждаете, как слепой о цвете.

Отступление закончено. Я снова наедине с собой и несколькими близкими товарищами. Снова возвращаюсь в послевоенные годы, когда для всех нас стало невозможным отвечать насилием на то, что не желало отчетливо себя обнаружить. Снова я оказался в ситуации вынужденности и невозможности.

Совершенно ясно, что эта невозможность относится не ко всем. Среди евреев данного времени - будь то рабочие в Киеве, коммерсанты в Бруклине, крестьяне в Негеве - достаточно мужчин и женщин, для кого еврейство всегда было и осталось позитивным фактом. Они говорят на идише и на иврите. Они соблюдают шаббат. Они толкуют Талмуд или молодыми солдатами стоят по стойке "смирно" под бело-голубым флагом со звездой Давида. По религии или по национальности, или только испытывая личный пиетет перед образом деда с пейсами, все они суть евреи как члены сообщества. И все

же можно отвлечься и вместе с социологом Жоржем Фридманом задаться дополнительным вопросом, будут ли их потомки таковыми или, возможно, наступит конец еврейскому народу - как в средиземноморской стране, где уже сегодня израильтянин сменяет еврея, так и в диаспоре, где в конечном счете может осуществиться процесс тотального сплавления евреев не столько с народами-хозяевами, в свою очередь теряющими свой национальный характер, сколько с более крупной общностью технико-индустриального мира.

Я оставляю этот вопрос без ответа. Сохранение или исчезновение еврейского народа как этнической и религиозной общности меня не волнует. В моих рассуждениях нет места евреям, являющимся евреями потому, что их оберегает традиция. Я вправе говорить лишь за самого себя - и, хотя и с осторожностью, за насчитывающих, пожалуй, миллионы современников, на которых их еврейство обрушилось внезапно, как удар стихии, и которые должны выдержать его без Бога, без истории, без мессианско-национальных надежд. Для них, для меня быть евреем означает ощущать в себе груз вчерашней трагедии. На моем левом предплечье освенцимский номер; он читается быстрее, чем Пятикнижие или Талмуд, но говорит о большем. И обязывает к большему, нежели основная формула еврейского бытия. Если я говорю себе и миру, в том числе религиозным и национально настроенным евреям, которые не считают меня своим, - если я говорю: я еврей, то имею в виду реальности и возможности, сосредоточенные в освенцимском номере.

За два десятилетия, минувшие со времени моего освобождения, я мало-помалу осознал, что дело не в позитивной детерминированности бытия. Еще Сартр однажды сказал, что еврей - тот, кого другие считают евреем, а Макс Фриш в пьесе "Андорра" проиллюстрировал эту мысль. Она не нуждается в поправках, но, пожалуй, ее можно дополнить. Даже когда другие не определяют меня как еврея, как поступили с беднягой в "Андорре", который хотел стать столяром, но ему назначили быть только торговцем, я все равно остаюсь евреем просто в силу того, что окружающие не определяют меня однозначно как не-еврея. Быть чем-то может означать, что ты не являешься чем-то другим. Как не-еврей я еврей, должен им быть и должен желать быть им. Я обязан это принять и подтверждать в моем ежедневном существовании, вмешиваюсь ли сознательно в разговор, когда в овощной лавке болтают глупости о евреях, обращаюсь ли по радио к незнакомцам, пишу ли для журналов.

А поскольку быть евреем не просто означает, что я несу в себе катастрофу, случившуюся вчера и вероятную завтра,

по ту сторону этой задачи остается еще и страх. Каждый день утром, вставая с постели, я могу прочитать на своем предплечье освенцимский номер; это затрагивает последние коренные связи моего бытия, и я не уверен, не все ли бытие целиком. При этом со мной творится примерно то же, что и тогда, когда я ощутил первый удар полицейского кулака. Каждый день я заново теряю доверие к миру. Еврей без позитивной детерминированности, еврей из катастрофы, как мы спокойно можем его назвать, должен устраиваться без доверия к миру. Соседка приветливо здороваюсь - бонжур, мсье; я приподнимаю шляпу - бонжур, мадам. Однако мадам и мсье разделены астрономической дистанцией, потому что вчера некая мадам отвернулась, когда уведили некоего мсье, а некий мсье смотрел на мадам сквозь зарешеченное окно отъезжавшей машины как на каменного ангела светлых и суровых небес, навеки закрытых для евреев.

Я читаю официальное объявление, где "la population", сиречь "население", призывают что-то сделать - вовремя выставить мусорные ведра или вывесить флаги к национальному празднику. La population. Опять же неземное царство, куда мне не попасть, как в замок Кафки, ведь вчера la population ужасно боялось спрятать меня, и будет ли у него больше мужества, если я завтра постучу в дверь, увя, еще вопрос.

Двадцать лет прошло с катастрофы. Для нас это годы, богатые почестями. Нобелевских лауреатов с избытком. Французских премьер-министров звали Рене Майер, Пьер Мендес-Франс; американский представитель в ООН по имени Голдберг - проповедник самого почтенного антикоммунистического американского патриотизма. Я не доверяю этому миру и согласию. Декларации о правах человека, демократические конституции, свободный мирисвободная пресса. Ничто не может снова погрузить меня в беззаботный сон, от которого я пробудился в 1935 году. Я иду по миру как еврей - точно больной одним из тех недугов, что не причиняют особых страданий, но неизбежно приводят к летальному исходу. Он не всегда страдал этой болезнью. Когда он пытается вылущить свое я из луковицы, как Пер Гюнт, то не находит никакой порчи. Первый урок в школе, первая любовь, первые стихи - они не имели к этому отношения. Но теперь он - больной, прежде всего больной, а уж потом портной, бухгалтер или поэт. Вот и я как раз тот, кем не являюсь, потому что не был им до того, как стал таковым, прежде всего прочего - еврей. Смерть, которой не избежит больной, для меня угроза. Бонжур, мадам, бонжур, мсье, - так они приветствуют друг друга. Но эта женщина не может снять хворь со своего больного соседа и не станет этого делать, чтобы самой потом не умереть от нее. Так и остаются они

чужими друг другу.

Не доверяя миру, я, еврей, стою, чужой и одинокий, перед окружающими меня людьми, и единственное, что могу сделать, - это как-нибудь устроиться в отчужденности. Я должен принять свою чуждость как основной элемент моей личности, упорно за нее держаться как за неотчуждаемую собственность. До сих пор я каждый день заново приспосабливаюсь к одиночеству. Я не сумел вовлечь вчерашних убийц и потенциальных завтрашних агрессоров в моральную истину их злодеяний, потому что мир в его совокупности мне в этом не помог. Окружающие не кажутся мне антилюдьми, как некогда палачи. Они люди сторонние, которым нет дела до меня и крадущейся подле меня опасности. Здраваясь с ними без враждебности, я иду мимо, своей дорогой. Я не могу опереться на них, только на позитивно недетерминированное еврейство, мое бремя и мою опору.

Если и существует общность между мной и миром, чей все еще не отмеченный смертный приговор я признаю как социальную реальность, то она растворяется в полемике. Не хотите слушать? Слушайте. Не хотите знать, куда ваше равнодушие способно каждую минуту снова завести вас самих и меня? Я вам скажу. Случившееся вас не касается, потому что вы не знали, или были слишком юны, или вообще еще не родились на свет? Вы должны увидеть, и ваша молодость не охранный грамота, порвите с вашими отцами.

Еще раз я должен задать себе вопрос: может, я психически болен и борюсь не с неизлечимой болезнью, а с истерией? Вопрос совершенно риторический. Ответ я дал давным-давно, со всей определенностью. Я знаю, меня гнетет не невроз, а точно исследованная реальность. Я не страдал истерическими галлюцинациями, когда слышал "Сдохни!" и мимоходом перехватывал фразы, что с евреями, пожалуй, дело нечисто, ведь иначе с ними вряд ли стали бы обходиться так сурово. "Их арестовывают, значит, они что-то натворили", - говорила в Вене добропорядочная социал-демократка, жена рабочего. "Как ужасно, что творят с евреями, но в конце концов..." - размышлял гуманный и патриотично настроенный брюсселец. Я должен, пожалуй, прийти к выводу, что не я повредился умом, а что невроз заключен в историческом событии. Безумны другие, а я растерянно стою среди них, словно был на экскурсии в психиатрической клинике и внезапно потерял из виду врачей и санитаров. Однако приговор, вынесенный мне безумцами, сохраняет полную силу, поскольку может быть в любую минуту приведен в исполнение, и здравость моего собственного рассудка не играет роли.

Эти рефлексии близятся к

завершению. Я рассказал о своем самоощущении в мире, и теперь настала пора высказаться о том, как я отношусь к своим сородичам, евреям. Но в самом ли деле они со мною в родстве? Исследователь расовых различий, конечно, установит, что мой внешний облик носит те или иные еврейские черты, однако это может иметь значение, только если я окажусь в толпе, которая - ату! ату! - занята травлей евреев. И это теряет всякое значение, когда я наедине с собой или среди евреев. У меня еврейский нос? Он может обернуться бедой, если начнется травля, но никак не связывает меня ни с каким другим еврейским носом на свете. Еврейский облик - присущий мне или нет, не знаю - дело других, моим это дело станет только в созданном ими объективном отношении ко мне. Выгляди я так, будто сошел со страниц книги "Евреи смотрят на тебя" Иоганна фон Леерса, мой облик не обладал бы для меня субъективной реальностью и создал бы, пожалуй, общность судьбы, но отнюдь не позитивное тождество между мною и моими еврейскими ближними. Так что остается только духовное, вернее, воспринятое сознанием отношение между евреями, еврейством и мною.

Что это фактически отсутствие отношения, я оговорил с самого начала. С евреями как таковыми меня не объединяет практически ничто - ни язык, ни культурная традиция, ни воспоминания детства. В австрийском Форарльберге жил трактирщик и мясник, о котором мне рассказывали, что он бегло говорил на древнееврейском. Это мой прадед. Я никогда его не видел, и умер он без малого сто лет назад. До катастрофы мой интерес к еврейскому и евреям был столь незначителен, что о тогдашних моих знакомых я сегодня при всем желании не могу сказать, кто из них был еврей, а кто нет. Как бы я ни пытался найти в еврейской истории свою, в еврейской культуре - свое достоинство, в еврейском фольклоре - свои собственные реминисценции, все это ни к чему не приведет. Среда, в которой я находился в те годы, когда человек узнаёт свое я, не была еврейской, этого не изменить. И тем не менее бесплодность поисков моего еврейского я никоим образом не создает барьера между мной и солидарностью со всеми на свете евреями, которым грозит опасность.

Я читаю в газете, что в Москве обнаружили подпольную пекарню, где готовили пресный еврейский хлеб, и арестовали пекарей. Ритуальная еврейская маца как продукт питания интересует меня меньше, чем хрустящие хлебцы. Однако действия советских властей внушают мне беспокойство, даже негодование. Некий американский загородный клуб, как я слышал, воспрещает членство евреям. Я не хотел бы принадлежать к этому явно унылому буржуазному объединению,

однако дело евреев, требующих для себя права членства, становится и моим делом. Что какой-то арабский политик требует ликвидировать Израиль, задевает меня за живое, хотя я никогда не бывал в Государстве Израиль и не имею ни малейшего желания там жить. Солидарность со всеми евреями, чья свобода, равноправие или даже физическое существование находятся под угрозой, есть тоже, но не только реакция на антисемитизм, который, согласно Сартру, вовсе не мировоззрение, а предрасположенность и готовность к преступлению геноцида; эта солидарность составляет часть моей личности и служит оружием в борьбе за восстановление достоинства. Только если я, не будучи евреем в смысле позитивной детерминированности, буду евреем в познании и признании мирового суждения о евреях и в конечном счете приму участие в процессе исторической апелляции, я буду вправе произносить слово "свобода".

Солидарность перед лицом угроз - вот все, что связывает меня с моими еврейскими современниками, с верующими и неверующими, носителями национальной идеи и готовыми к ассимиляции. Для них это мало или почти ничего. Но для меня это означает многое, вероятно, больше, чем мое понимание книг Пруста, или моя привязанность к новеллам Шницлера, или та радость, какую доставляет мне фламандский пейзаж. Без Пруста, Шницлера и согнутых ветром тополей на берегу Северного моря я был бы беднее, но все же оставался бы человеком. Без чувства принадлежности к тем, кому грозит опасность, я был бы отрекающимся от себя эскапистом, беглецом от действительности.

Я делаю ударение на слове "действительность", поскольку в конечном счете для меня важна именно она. Антисемитизм, породивший меня как еврея, может быть бредом, речь здесь не об этом. Так или иначе, бред или нет, но он исторический и социальный факт, ведь я был в Освенциме на самом деле, а не в воображении Гимmlера. И он по-прежнему остается фактом, отрицать его может лишь полная социальная и историческая слепота. Он сохраняется как действительность в своих коренных странах, Австрии и Германии, где нацистские военные преступники находятся на свободе или получают смехотворно незначительные сроки лишения свободы, отсидев, как правило, едва ли треть. Он - действительность в арабских странах. Он реален - и сколь тяжкими последствиями это чревато! - в духовном пространстве католической церкви; сущий стыд, с какими сложностями и разногласиями протекали заседания собора касательно так называемого заявления по еврейскому вопросу, несмотря на достойную позицию иных князей церкви.

Возможно, на нацистских фабриках смерти разыгрывался последний акт великой исторической драмы преследования евреев, однако ввиду

определенных обстоятельств рассчитывать на это никак нельзя. Я думаю, сценарий антисемитизма продолжает существовать. Новое массовое уничтожение евреев как возможность исключить нельзя. Что, если арабские страны, поддерживаемые ныне поставками оружия с Запада и Востока, одержат тотальную победу в войне против маленького Израиля? Чем станет Америка, впавшая в милитаристский фашизм, не только для негров, но и для евреев? Какова была бы судьба евреев в наиболее густо населенной сейчас евреями европейской стране, во Франции, если бы в начале этого десятилетия восторжествовал не де Голль, а ОАС.

С некоторым неприятием я читаю в эссе одного весьма юного голландского еврея следующее определение: "Еврея можно описать как человека, в котором больше страха, недоверия и досады, чем в его согражданах, никогда не подвергавшихся гонениям". По видимости верное определение становится ложным оттого, что в нем опущено необходимое дополнение, которому должно звучать так: "...поскольку он не без оснований в любую минуту ожидает новой катастрофы". Все сводится к сознанию происшедшего и законной боязни нового катаклизма. Я, несущий в себе то и другое - и последнее для меня тяжело вдвойне, ибо в первом я уцелел лишь случайно, - не "травмирован", но духовно и психически полностью соответствую реальности. Сознание моего катастрофического еврейского бытия вовсе не идеология. Его можно сравнить с классовым сознанием, которое Маркс пытался раскрыть пролетариям

XIX столетия. Я переживаю и проясняю в моем существе историческую реальность своей эпохи и оттого, что познал ее глубже большинства моих сородичей, способен и лучше ее осветить. Это не заслуга и не особая моя разумность, а просто воля случая.

Было бы легче переносить все это, если бы моя связь с другими евреями не исчерпывалась бунтующей солидарностью, если бы вынужденность постоянно не натывалась на невозможность. Я слишком хорошо это понимаю. Однажды я со своим еврейским другом присутствовал на исполнении "Уцелевшего из Варшавы" Арнольда Шёнберга. Когда под звуки тромбонов хор запел "Шма, Исраэль", мой спутник побелел как мел, и на лбу у него выступили капли пота. Мое сердце не забилося сильнее, но я почувствовал себя более жалким, нежели мой товарищ, которого потрясла хоровая еврейская молитва под вскрики тромбонов.

Я, подумалось мне потом, не могу быть евреем в душевном волнении, но лишь в страхе и гневе, когда страх, чтобы обрести достоинство, оборачивается гневом. "Слушай, Израиль!" меня не трогает. Только "Слушай, мир!" может яростно вырваться из меня. Так требует шестизначный номер на моем предплечье. Так требует ощущение катастрофы, доминанта моего существа.

Я часто спрашивал себя: можно ли по-человечески жить в напряжении межстрахом и гневом? Тому, кто следовал за мной в этих размышлениях, их автор, вероятно, мог показаться чудовищем, одержимым если не жадной мести, то, уж по крайней мере, озлобленностью. В подобной оценке, пожалуй,

есть доля истины, но именно доля. Человек, который попытается быть евреем на мой манер и в назначенных мне условиях, который в прояснении вопроса о собственном, определенном катастрофой бытии надеется собрать и сформировать в себе реальность так называемого еврейского вопроса, лишен доверчивости. Его уста не источают меда гуманизма. И великодушные жесты даются ему с трудом. Но это не означает, что по причине страха и гнева он неминуемо будет менее порядочным, нежели его этически окрыленные современники. Он может иметь друзей и имеет их, даже среди представителей именно тех народов, которые навеки обрекли его висеть меж страхом и гневом. Он способен читать книги, слушать музыку, как и невредимые, не менее впечатлительный, чем они. Если речь пойдет о вопросах морали, он, вероятно, окажется восприимчивее к любой несправедливости, нежели его современники. Он наверняка острее отреагирует на фото орудующих дубинками южноафриканских полицейских или американских шерифов, натравливающих рычащих собак на чернокожих борцов за гражданские права. Если мне стало трудно быть человеком, это не значит, что я стал чудовищем.

В конечном итоге ничто не отличает меня от других людей, среди которых я провожу мои дни, только зыбкое, осязаемое то сильнее, то слабее беспокойство. Но это беспокойство социальное, не метафизическое. Меня гнетет не бытие, не Ничто, не бог, не отсутствие бога, а только общество: ведь оно, и только оно вызвало нарушение моего экзистенциального равновесия, наперекор которому я теперь стараюсь идти выпрямившись, расправив плечи. Оно, и только оно отняло у меня доверие к миру. Метафизическая печаль - эlegantный недуг высшего ранга. Пусть она остается уделом тех, что всегда знали, кто они, и что они, и почему они есть, и что они вправе быть таковыми всегда. Я должен предоставить их самим себе - и не потому, что ощущаю перед ними свое убожество.

В неустанном стремлении исследовать суть состояния жертвы, в столкновении с вынужденностью и невозможностью быть евреем я, как мне кажется, понял, что самые экстремальные требования, предъявляемые к человеку, имеют физическую и социальную природу. Я знаю: такой жизненный опыт сделал меня неспособным к глубокомысленным и возвышенным спекуляциям. Но надеюсь, он лучше подготовил меня к познанию действительности.

Перевод с немецкого Игоря
Эбаноидзе

"Новое издательство"
(Текст печатается с разрешения
переводчика.)



Могила Жана Амери в Вене

¹ Смотри-ка, возвращаются, их все-таки не всех убили (фр.).

² "Быть евреем: интеллектуальный выбор" (фр.)

РЕБ ТЕВЬЕ ЛИР

Белла КЕРДМАН

Перебирая архивы, задержалась на журнале "Алеф" от 16 марта 1995 года. Тогда он выходил еженедельно, а я, репатриантка с неполным годичным стажем, возила в редакцию, которая была в Тель-Авиве, свои машинописные рукописи. Меня в том старом номере журнала привлекла обложка с изображением доисторических ящеров и вопросом, пущенным через нее крупным шрифтом: "Были ли вообще динозавры?" Очевидно, так подсказывалась читателю главная публикация номера. Это "вообще" ("ваще", как выражаются сейчас крутые ребята в интернете) показалось забавным. В номере с экзотической обложкой, однако, обнаружилась статья, которую считаю одной из своих удач в израильской практике.

Это было интервью со светлой памяти Натальей Соломоновной Вовси-Михоэлс, дочерью великого актера и великого еврея, порученное мне редактором Давидом Шехтером "к дате" - рубрика над статьей сообщала: "17 марта - 105 лет со дня рождения Соломона Михоэлса". Я могу сейчас с помощью Гугла точно назвать день знакомства с Натальей в ее тель-авивской квартире. Так, это было 2 марта того же 95-го. Накануне убили известного российского тележурналиста, гендиректора канала ОРТ Владислава Листьева, и наша беседа то и дело прерывалась звонками из Москвы и в Москву: Наталья Соломоновна близко к сердцу приняла случившееся, пыталась вникнуть в подробности, что никак не удавалось. Впрочем, и по сей день не удается, как я поняла со слов Альбины Назимовой, вдовы Листьева, прозвучавших в программе телеканала "Дождь" в марте нынешнего года, то есть четверть века спустя.

Трагическое событие - политическое убийство в реалиях новой вроде бы уже России, на фоне которого проходила наша встреча с дочерью убиенного по безусловно политическим же мотивам ярчайшего представителя своего народа (и своего времени), придавала беседе особую остроту. Не стану сейчас описывать сюжет собственно убийства Михоэлса, говорить о его заказчике и исполнителях - мы успели об этом узнать до того, как над Россией снова сгустился морок советской секретности, а



также популярности "отца народов" и убийцы народов в лице товарища Сталина.

Но одно дело знать "вообще", а совсем другое - услышать в деталях и подробностях от близкого по крови и по духу человека, родной дочери. Некоторые факты из жизни древнего еврейского клана Вовси и актера с псевдонимом Михоэлс, принятого им в честь отца, а ее, Натальи, деда, я услышала в тот день впервые. И уже потом, все эти годы собирала о Соломоне Михайловиче Михоэлсе все, что удавалось узнать, причем из первых уст, что сегодня уже просто невозможно. В частности, я успела познакомиться с двумя актрисами - Эльшей Безверхней, которую часто называют Беленькой - по фамилии мужа, тоже еврейского театрального деятеля, и Этелью Ковенской, бывшей в свое время самой молодой в труппе ГОСЕТА. В документальном фильме режиссера-репатрианта Ефима Гольцмана они названы "осколками убиенного театра". Сегодня ни одного из "осколков" в живых не осталось. И нет уже Натальи Соломоновны, нет Нины Соломоновны, младшей дочери Михоэлса, преподававшей в Израиле театральное мастерство. Вообще, думаю, нет никого, кто лично знал или хотя бы видел на сцене великого актера. Да и Фима Гольцман отошел в мир иной...

Но вернемся в дом Натальи, в тот наполненный международными телефонными звонками день. Услышав от нее, что в юности отец серьезно увлекался науками, особенно математикой и биологией, я спросила: "Интересно, а когда он впервые сыграл на сцене, какую роль?" Ответ удивил. Это случилось еще в хедере. Семья была хасидская, глубоко верующая, жила в Риге. И дерзкое намерение сделать

иврит разговорным языком ее коснулось. Ученики написали пьесу о Маккавеях. И он, будущий знаменитый актер, не только участвовал в ее написании, а и сыграл Иуду Маккавея. В 11 лет, на иврите!

Таким ранним было начало. И довольно поздним обращение к профессии всей жизни. Впрочем, это довольно известный факт: Соломон Вовси уже заканчивал юридический факультет университета в Петрограде, оставалось сдать государственный экзамен, когда он явился по объявлению в театральную студию режиссера Грановского. На календаре был 1919 год, "абитуриенту" исполнилось 29. Вскоре студия переехала в Москву, в маленькое помещение в Чернышевском переулке. Там и зародился ГОСЕТ - Государственный еврейский театр, единственный такой в мире. Здание на Малой Бронной, где прошли блистательные спектакли с участием Михоэлса, где театру присвоили имя убиенного актера и тут же его закрыли - все это случилось потом.

- А что они тогда в еврейском театре ставили? - спрашиваю у новой знакомой. Она рассказывает, что вначале были инсценировки по Шолом-Алейхему: "Агенты", "Мазлтов" и другие. Огромный успех имели "Колдунья", "200 тысяч". Одним из самых ярких спектаклей ГОСЕТА стало "Путешествие Вениамина Третьего" по Менделю Мойхер-Сфориму. Партнером отца был его друг и единомышленник, его второе "я" - Биньямин Зускин. У них сложилось редкое единство по технике актерского исполнения и по духовной наполненности. "И были также Тевье-молочник, и реб Алтер-книгоноша, и Менахем Мендл", - это уже я продолжила классический ряд



Михоэлс в роли Короля Лира

образов, созданных Михоэлсом. Хозяйка дома утвердительно кивнула.

Наталья Соломоновна обратила мое внимание на имена художников, которые сотрудничали с ГОСЕТом. Сценографом там служил Марк Шагал, в архивах семьи сохранилась фотография Соломона Михоэлса в роли Алтера с молодым и веселым Шагалом. Спектакли оформляли также Натан Альтман, Роберт Фальк, Исаак Рабинович, Александр Тышлер. Они делали все, от декораций и костюмов до грима. Позднее я запишу за Этелью Ковенской: "29 октября 1948 года, когда еврейский театр, просуществовавший тридцать лет, закрывали, я пришла туда проститься и увидела... разбросанные по полу полотна Шагала - эскизы персонажей и костюмов для первых спектаклей ГОСЕТА. По этим бесценным работам топтались чьи-то грязные калоши и сапоги".

Тышлер был другом дома, рассказывала Наталья Соломоновна: "Я хорошо помню его в пору ташкентской эвакуации. Прибежали они с отцом из театра голодные, - а тогда голодными были мы все и всегда, - ставили на стол эту, как ее - заваруху, что ли?". Я подсказываю: "затируху, похлебка такая была во время войны, помню по сибирской эвакуации". - "Да, точно, затируху! - продолжила Наталья. - Они ели не глядя, продолжая разговаривать. Тышлер все время что-то рисовал, имея под рукой карандаш и бумагу. "Смотри, - говорит папе, - как точно пересекаются линии паранджи и мечети".

Поклоению Натальи (она родилась в 1921 году) посчастливилось видеть "Короля Лира" с Михоэлсом в главной роли, мы же об этом только читали. Правда, в начале 90-х на экране российского ТВ промелькнули небольшие отрывки из этого знаменитого, мирового уровня спектакля. "Его сняли на пленку?" - спрашиваю у Натальи. "Нет, это был фильм Семена Арановича и Павла Финкеля "Большой концерт народов, или Дыхание Чейн-Стокса", снятый на Ленфильме в 1991 году - о процессе над деятелями

Еврейского антифашистского комитета, там есть сюжет о гибели Соломона Михоэлса и небольшие отрывки из спектаклей ГОСЕТА, - слышу в ответ. Весь "Король Лир", увы, не записан на пленку, тогда этого не делали. А искусство актера смертно".

"Король Лир" был поставлен в 1935 году Сергеем Радловым к проходившему в Москве Шекспировскому фестивалю, - записываю за ней. - Премьеру посмотрел Гордон Крэг, английский режиссер и шекспировед. И потом смотрел этот спектакль столько раз, сколько его показывали во время фестиваля. Такого Шекспира он в Англии не видел! Этот Лир без бороды, говорящий на идише, был выражением не только шекспировских страстей. Михоэлс дал образу библейское наполнение - он играл трагедию Иова. Вернувшись в Лондон, Крэг пригласил отца сыграть эту роль на родине великого драматурга - да, на идише! Его письма Соломон Михайлович не видел, за него ответили "где положено" - мол, актер не совсем здоров, много работает..."

Я спросила, как они, семья, узнали о гибели Соломона Михайловича? Когда поняли, что это был не несчастный случай, а убийство? Дочь рассказала, что ему от комитета по Сталинским премиям было предложено на выбор для определения спектакля, достойного этой премии, три адреса: Ленинград, Тбилиси и Минск. Он выбрал Минск - там был БелГОСЕТ, еврейский театр. Сестры Наталья и Нина проводили отца 7 января 48-го. Командировка была выписана до 20-го. Но через пару дней он позвонил и сказал, что хочет вернуться раньше: устал и соскучился по дому. Это был закон семьи, заведенный ее главой: звонить, если где-то задерживаешься или что-то меняешь в своих планах.

13 января утром официальным звонком семье сообщили, что Михоэлс умер. Вместе с Голубовым-Потаповым, театроведом, с которым его отправили в ту деловую поездку, - как стало известно со временем, сотрудником КГБ "по совместительству". Их нашли мертвыми на улице. Сестры Наталья и Нина вместе с мачехой Анастасией Павловной и Биньямином Зускином хотели тотчас выехать в Минск, но им запретили. Сказали, что доставят гроб поездом. А 14 января по радио сообщили, что Михоэлс "безвременно скончался", эту формулировку повторили все газеты.

"15 января его привезли в Москву коллеги из БелГОСЕТА



и какие-то люди, видимо, гэбисты, - продолжила рассказывать Наталья. - На площади перед Белорусским вокзалом было море народа, хотя никто не знал точно, когда прибывает гроб с телом. И тут же возник слух об автокатастрофе. Следов насильственной смерти вроде не видно было - только ушиб затылка и огромный синяк под правым глазом. Теперь, благодаря Светлане Аллилуевой, мы знаем, из чьих уст впервые прозвучало "автокатастрофа" - это была лично сталинская заказная версия.

Многие потом говорили, что сразу поняли: это убийство. Мы же первое время были так потрясены, что не думали о том, как такое произошло. Но вот в марте привезли из Минска вещи отца: шубу, шарф с запекшейся кровью и палку, с которой он обычно ходил, - она была сломана. При вещах мы обнаружили записку на клочке желтой, вроде оберточной, бумаги: "Вещи, найденные у убитого Михозлса", - нацарапала малограмотная, видимо, милицейская рука. Вот это "убитого" стало толчком к нашему прозрению. Мы тщательно хранили эту записку. Но когда были "в подаче" на выезд в Израиль, один из отказников предложил передать особо важные для нас документы через его знакомого конгрессмена в Америку - потом, дескать, вам это вернут. Мы и отдали эту записку и свидетельство о смерти Михозлса, где в графе "причина..." был прочерк. Больше мы этих документов не видели".

Хоронили великого артиста 16 января. Гражданская панихида состоялась в его театре. Было

очень холодно, но люди шли нескончаемым потоком. Это были народные похороны. Говорили, что на крыше ларька напротив театра стоял старенький еврей и играл на скрипке "Кол нидрей" - поминальную молитву. Сама Наталья этого не видела. Она видела другое. Однажды они с Ниной пришли на Донское кладбище, где был похоронен отец, и увидели процарапанное в камне и окрашенное чернилами: "Гению человечества - слава". На такое в 1951 году, когда уже сидел весь Еврейский антифашистский комитет, мог решиться только отчаянный храбрец! В 1958-м камень заменили памятником работы скульптора Гавриила Гликмана. Дочери Михозлса были приглашены на столетний юбилей отца, который отмечался в театре на Малой Бронной, а вместе помещении ГОСЕТа в Москве. Они взяли с собой плащ "короля Лира", хранившийся в семье. Наталья рассказывала: актеры из многих республик тогдашнего СССР, исполняли отрывки из спектаклей, в которых играл Михозлс. Грузин Чехвадзе показал потрясающего Лира. После сцены с Шутом он поклонился перед креслом, где лежал плащ Лира и положил на него белую лилию. Она была в восторге от Богдана Ступки в роли Тевьемолочника и Евгения Леонова в той же роли. Огорчалась, что не удалось увидеть в этом образе Михаила Ульянова.

Сестры Михозлс привезли в Израиль то, что смогли спасти. Многие документы и фотографии, хранившиеся в театральном музее им. Бахрушева, были сожжены, на некоторых уцелевших бумагах остались следы огня... В Иерусалиме в пору их репатриации (конец 1972 года) как раз создавался театральный архив. Наталью Соломоновну пригласили там поработать, создать музей Михозлса. Было торжественное открытие. Но вскоре эта

затея как-то сошла на нет. К ней вернулись всерьез с началом Большой алии, когда в страну прибыла большая масса людей, для которых имя Михозлса было символом российского еврейства. И к сестрам Михозлс обратились с официальной просьбой из Иерусалимского университета передать туда наследие отца. Наталья Соломоновна считала театральную архивную часть достойным местом для хранения этих святых реликвий культуры.

Четыре часа в ее доме промелькнули незаметно. Мне хотелось еще спрашивать, еще слушать эту женщину. Разглядывать такие разные, такие выразительные фотографии великого актера в семейном альбоме. Но снизу позвонили, и в дом вбежало юное существо в солдатском хаки. "Внучка, Катька!" - представила ее Наталья Соломоновна и хлопотала по хозяйству. Не преминув добавить, что Катя родилась, как и прадед, в ночь на Пурим. 17 марта в день выхода журнала "Алеф" с нашим интервью ей исполнилось 19 лет.

Моя визави поставила условие: она должна прочитать интервью до публикации. И, да, пришла в редакцию журнала и внимательно прочитала. Не сделала ни одного замечания, ничего не поправила, к моему удивлению. Я предложила ей на выбор четыре заголовка. Она остановилась на этом: "Реб Тевье Лир", который и мне нравился больше остальных (сейчас их не помню). Тогда я, не успевшая еще отойти от совкового самоконтроля в соображении цензуры, которая там и тогда называлась ЛИТО (так и не поняла, как раскрывалась эта аббревиатура), не очень надеясь, что такое "пройдет". И совпадение в выборе с Натальей Соломоновной, которая была не только дочь знаменитого актера, а и писательница, автор трех книг, стало предметом моей особой гордости.

РЫЦАРЬ

Памяти Леонида Енгибарова

Виталий РОЗЕНШАЙН

Мой друг Ленка Лейбзон был невысок, по-боксерски сутул, как бы все время в стойке, а он и был чемпионом Москвы среди юношей и все время улыбался, когда слушал, - он умел слушать, улыбался, когда говорил, а говорил он мало, медленно и очень тихо, улыбался, когда пил, а пил он много, по-детски, вытягивая губами до последней капли водку из рюмки. Работал он по распределению после окончания факультета журналистики МГУ замом ответственного секретаря в "Волгоградской правде". Был он из очень интеллигентной семьи профессиональных революционеров (так было записано в графе "Социальное происхождение" в паспортах его родителей). Он любил всех, и все его любили. В нашей буйной молодой компании он был незаметен, но никто из нее не мог представить себе, что можно собраться без него. Он тихо сидел за столом, тихо напивался, тихо засыпал на стуле и тихо просыпался с виноватой улыбкой. Когда мы пригласили его на нашу свадьбу, он тихо отказался: "Я люблю вас и хочу, чтоб ваш брак был вечным, а то я вот был у Йоськи Кобзона и Роньки Кругловой на свадьбе, а они возьми да и разведись вскоре". На следующий день он пришел с подарком и цветами поздравить нас и потом часто бывал в нашем доме.

Он писал удивительные рассказы.

Один из них был о его близком друге, талантливом клоуне Леониде Енгибарове. Как-то на гастролях в Сочи Енгибаров с другом шли из гостиницы в цирк на репетицию. Впереди их шла девушка с длинными, развевающимися на ветру волосами. Изящную фигурку подчеркивало обтягивающее

шелковое платье, а туфельки на высоком каблуке удлинняли и без того длинные и стройные ножки. Ну и как молодым парням не обратить внимание на такую прелесть.

- Девушка, а девушка, подождите, куда вы так торопитесь, - начали парни атаку, - не торопитесь, можно ведь и каблук сломать.

Девушка ускорила шаг. - Куда же вы? Давайте познакомимся, - настаивал Енгибаров.

Внезапно девушка остановилась и резко оглянулась:

- Ну, давайте познакомимся, - сказала она.

Ребята онемели. Лицо девушки было обезображено жутким ожогом.

- Может, вы меня и на свидание пригласите? - в голосе насмешка, в глазах слезы.

- Давайте встретимся в шесть на Ривьере. Меня зовут Леонид. А вас? - спокойно сказал Енгибаров.

Девушка помолчала, вглядываясь в лицо, видимо, узнавая, кто с ней разговаривает:

- Хорошо, я приду.

Был понедельник, представления по понедельникам не проводились, и Енгибаров с легким сердцем репетировал, пока к нему не подошел администратор:

- Значит, так, товарищ Енгибаров, сегодня у нас шефское представление в пригородном совхозе. Прибывь к автобусу в пять вечера.

Как ни уговаривал Енгибаров провести представление без него, администратор был непреклонен: к пяти, и точка.

Клоун к автобусу не пришел. На следующий же день на профсоюзном собрании был гневно осужден рвач Енгибаров, который работает только за деньги и игнорирует бесплатные шефские мероприятия.

С того момента великий Енгибаров стал невъездным.



ПРОЩАНИЕ С ЛАВАНОМ

Александр КАЗАРНОВСКИЙ

Все-таки какие замечательные слова находят российские евреи, когда хотят выразить любовь к своему, сиречь к нашему, народу! Вот например:

*"Сколько нас давят -
а все не достигли цели
Как ни живали со света, а мы всё целы.
Как ни топтали, как ни тянули жилы,
Что ни творили с нами - а мы всё живы!*

*...
Радуйся, радуйся, грейся убогой лаской,
О мой народ богоизбранный -
вечный лакмус!
Празднуй, сметая в ладонь
последние крохи.*

*Мы - индикаторы свинства любой эпохи.
Как наши скрипки плачут
в тоске предсмертной!*

*Каждая гадина нас выбирает жертвой
Газа, погрома ли, проволоки колючей -
Ибо мы всех беззащитней -
и всех живучей!*

*Участь избранника - травля,
как ни печально.*

*Нам же она предназначена изначально:
В этой стране, где телами
друг друга греем,*

*Быть человеком - значит уже евреем.
А уж кому не дано - хоть кричи,
хоть сдохни, -*

*Тот поступает с досады в черные сотни:
Видишь, рычит, рыгает,
с ломиком ходит -*

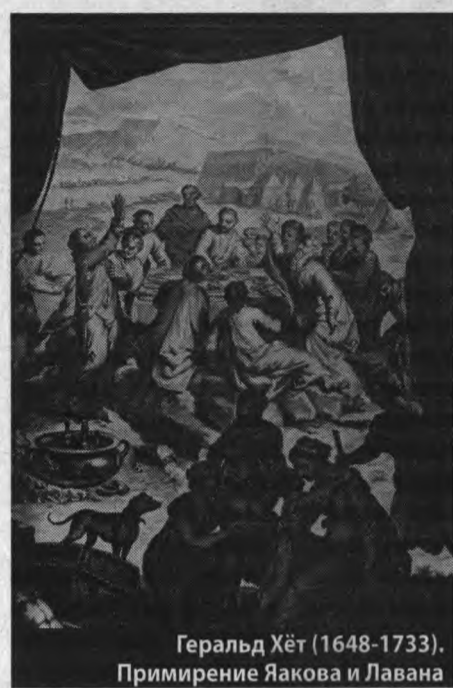
Хочется быть евреем, а не выходит..."

Здорово, правда? Но увы - встречаются и евреи-самоненавистники. Типа того, кто пишет: "Меня не заботит мое еврейство... Я его не выбирал, оно мне неинтересно. Я не люблю Израиль... Я считаю, что его создание было исторической ошибкой".

"Не примазываютесь! - обращается к нам этот еврейский антисемит. - Никакой иудео-христианской культуры сегодня не существует... Пора назвать вещи своими именами: никакая иудео-христианская цивилизация (и уж тем более культура) не воюет в лице Израиля с антицивилизационным и ужасным арабским миром. Воюют два ближневосточных народа, одинаково жестоковывных и непримиримых. Да, на многих из тех, кто воюет с израильской стороны, лежит налет той самой христианской культуры, которая для меня свята. Они свободно цитируют Бродского и Мандельштама... Но этот налет цивилизации не делает их менее жестоковывными - напротив, такая мимикрия в чем-то даже более опасна... Это уже называется антропологическим перерождением..."

Израиль защищает не меня... Израиль защищает не мои ценности и напрасно записывает меня в свои потенциальные сторонники...

У меня, к счастью, есть выбор - где жить, Израиль я не выбрал бы никогда, а потому разделять его ценности не обязан. Я отлично понимаю, что Европа, если она эти... ценности разделит хоть



Геральд Хёт (1648-1733).
Примирение Якова и Лавана



Геральд Хёт (1648-1733).
Бегство Иакова от Лавана



Иаков возвращается домой (logosinfo.org)

на миг, будет действительно обречена, ибо дышать в ней станет так же трудно, как трудно мне было дышать во время единственного посещения Израиля".

Так что на Руси тоже разные евреи имеют место пребывать.

Эх, позвать бы поэта, написавшего прекрасные строки, приведенные в начале этого очерка, истинного патриота нашего народа, и попросить накостылять, как следует, Абраму, не помнящему родства, оплевавшему нашу страну в только что приведенных отрывках презренной (ну очень презренной!) прозы.

Боюсь, не получится. Ну хотя бы потому, что оба этих автора - один и тот же человек - талантливый российский поэт, журналист, прозаик, патриот еврейского народа и ненавистник Израиля Дмитрий Быков.

Как такое возможно? Ну, свою позицию сам Быков определяет очень четко:

"Назначение еврея - все-таки быть солью в супе, а не собираться в отдельной солонке, вдобавок спорной в территориально-м смысле".

О'кей, но это взгляды, мировоззрение, а откуда взялись эмоции - откуда столь пылкая любовь к еврейскому народу и столь же пылкая злоба по отношению к еврейскому государству?

Знаете, чужая душа потемки, и бродить

в потемках души Дмитрия Быкова, равно как и чьей-либо еще души, у меня нет никакого желания. Многие его произведения я очень люблю, самому ему желаю здоровья и радости до ста восьмидесяти, и на этом позвольте нам с ним распрощаться. Мне гораздо интереснее было бы прогуляться к истокам ассимиляторства, понять, когда возникла эта идея "соли в супе", идея о том, что наше избранничество заключается в несении света в массы на индивидуальном, а не национальном уровне.

То есть из формулы пророка Ишайягу, он же Исайя: "Я, Господь, призвал тебя к правде, и возьму тебя за руку, и буду хранить тебя, и сделаю тебя народом завета, светом народов" (Ишайягу, 42:6) удаляется тезис о "народе завета", а тезис о "свете народов" наоборот подчеркивается.

В несколько более развернутом виде эта мысль сформулирована в романе Пастернака "Доктор Живаго", где автор устами своих героев декларирует следующее: "...в царстве Божьем нет эллина и иудея... В том сердце задуманном новом способе существования и новом виде общения, которое называется царством Божьим, нет народов, есть личности... Люди, когда-то освободившие человечество от ига идолопоклонства и теперь в таком множестве посвятившие себя

освобождению его от социального зла, бессильны освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему значение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали..."

Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитеесь. Будьте со всеми..."

Увы, эта концепция не нова была даже в середине прошлого столетия, когда писался "Доктор Живаго". Она служила рациональной основой и ассимиляторских движений XIX века, и Гаскалы - еврейского просвещения, возникшего свыше двухсот сорока лет назад.

Да что там Гаскала! Копаем глубже. Ведь цитирует герой "Доктора Живаго" Новый завет - "...нет эллина и иудея..."

Может, все тогда и началось? Мол, "нет народов, есть личности". Ну так и переформулируем слова Ишайягу, скажем "...сделаешься личностью завета, светом для личностей"... Кстати, нечто подобное и имел в виду главный персонаж Нового завета, утверждая: "Я свет миру!" (Иоанн, 8:12)

Так вот, господа, как я недавно с изумлением обнаружил, идея о том, что еврейский народ, неся свет инородным массам, должен в них раствориться, возникла не сто лет назад, не двести, не триста, не во времена апостолов, а раньше, чем появился еврейский народ.

Судите сами. Несколько месяцев назад в синагоге читался отрывок из Торы, посвященный странствиям предка нашего Якова, того, кто впоследствии получил от Вс-вышнего новое имя - Исраэль.

Убежав из Беэр-Шевы от своего брата, задумавшего расправиться с ним, Яков попадает в Харран (это на границе Сирии и Турции) к своему дяде Лавану. Тот встречает его с распростертыми объятиями, женит на своих дочерях, расплачивается (не совсем, правда, добровольно) лучшим мелким рогатым скотом из стада... В общем, как говорил Горбачев, - пир духа!

Даже как-то странно становится: ну, родственник, ну, пашет на тебя... Но ведь когда раб его деда некогда сюда явился, он пригнал целый караван верблюдов, груженных подарками - вот это дело! А тут является гол как сокол! Здравствуй, я ваш племянник! Приехал из Израиля, буду у вас жить! Ну, не из Израиля, из Ханаана, но это одно и то же!

А Лаван ему: "Ты кость моя и плоть!.. О если бы я обрел милость в твоих глазах! Благословил меня Господь ради тебя!..."

Ну, раз благословил, то и понятно, что, когда Яков хочет от него вместе с женами и детьми уйти обратно в Ханаан, будущий Израиль, Лаван его всеми силами пытается удержать.

Но вот что за перемена в его лице, завидев которую, Яков быстрехонько

собирает жен и наложниц, детей и слуг, заработанные непосильным трудом стада и прочее добро и пускается в бега? Кого он испугался? Малолетних сыновей Лавана, что ныли: "Забрал Яков все, что у отца нашего...?"

Ну, обратился к нему Вс-вышний со словами "Возвращайся... на родину свою", так ведь "возвращайся", а не "смаывайся"! Отправился бы в путь, провожаемый "с радостью и пением, с тимпаном и с лирой"... Да и Лаван, обнаружив пропажу зятя, дочерей, внуков и прочая, вместо того, чтобы отправить почтового голубя или быстрого гонца с эсэмэской "Вернись, я все прощу", сколачивает нечто вроде ополчения из невесты откуда взявшихся "братьев", догоняет Якова, осыпая его упреками, а затем произносит поразительные слова: "Рука моя в силе содейть ВАМ зло!" То есть страшно подумать, что бы сотворил рассвирепевший тесть-папаша-дедуля не только с беглым зятем, но и с любимыми дочурками и внуками, если бы в ту ночь Вс-вышний лично не навел Лавана и не предупредил того, что Он лично крышует Якова, так что, дружок, даже базар фильтруй, не говоря уже о чем-то, что покруче.

Откуда это такое кипение страстей в тихой семейной истории? Уж не случилось ли замаскированного под домашние склоки столкновения мировоззрений?

Как известно, письменным текстам Пятикнижия соответствуют мидраши - устные предания, созданные буквально в те же времена, что и сама Тора. Так вот, один из мидрашей поведал мне, что, оказывается, в юности Аврам с братом Нахором вместе были готовы

нести народам мира идеи единобожия, добра и справедливости. Объясняли окружающим, что человек создан по образу Божьему, что убивающий человека уничтожает целую Вселенную, а спасающий человеческую душу соответственно спасает целую Вселенную. Короче, несли свет в массы. Обросли учениками. И вдруг - в прямом смысле громом среди ясного неба - приказ Авраму с небес: "Уйди из страны своей, из дома своего, от родни своей и отправляйся в страну, которую Я укажу тебе".

Зачем? Для чего? Непонятно. Но приказ есть приказ, и Аврам забирает с собой жену, племянника (сына еще одного брата - Арана), а также бесчисленных учеников - и отправляется в путь.

А вот Нахору эта идея крайне не нравится. Какая еще страна? Они с братом призваны весь мир осветить, а тут велено на одной стране сосредоточиться. Бред какой-то!

Вскоре опасения Нахора начинают подтверждаться. Последняя надежда на то, что братишка, "обходя моря и земли, глаголом жжет сердца людей", рухнула. Судя по вестям из Ханаана, Аврам осел там прочно. Более того, говорят, Вс-вышний пообещал этот клочок земли его потомкам. Да кто он, этот Аврам, просветитель или латифундист? Ощувив себя единственным в мире светочем человечества, Нахор воспитывает себе смену - сына Бетуэля и на этой оптимистической ноте покидает бренный мир. А тот готов передать эстафету сыну Лавану. Неожиданно к Бетуэлю является некто Элизер, слуга блудного брата, настолько обуржуазившегося, что даже собственное имя ему тесным стало - он уже у нас не Аврам, а

Авраам! Мало этого, ему обещано потомство, народ, который и будет носителем светлых идей единобожия и гуманизма. Понятно?! Не человечество будет носителем, а один ма-а-аленький такой народец! А остальные обойдутся! И начало сотворению этого потомства уже положено! У новоименованного Авраама уже подросток по имени Ицхак. И - верх наглости - зловерный Элизер явился сватать за одного Ицхака Ривку, единственную дочку Бетуэля, единственную внучку покойного Нахора! Не бывать тому! На импровизированном пиру Бетуэль предлагает гостю слегка кирнуть, ставит перед собой кубок с нормальным вином, а перед ним - с отравленным. Срочно подоспевший ангел меняет кубки местами, и Бетуэль отправляется к папаше на небеса, а Ривка - к жениху. Катастрофа! Проект "соль в супе" на грани закрытия! Но не все коту масленица! "Будет и на нашей улице праздник!" - с надеждой шепчет Лаван. И этот праздник настает.

Блудный племянник, сионистское отродье и сам горе-сионист, является голый и босый. Вот оно - возмездие за сестру! Вот она - расплата за авантюризм двоюродного деда, последовавшего за миражом, который он принял за зов Вс-вышнего. Что, дедуля? Произвел на свет Ишмаэля, дичь-человеческую, предка ахмедов да махмудов? Это с ними ты свет в массы нести собрался? Ну-ну! А ты, дядя Ицхак? Остался с Эсавом, с красным куском мяса, поросшим волосами. Ну, этот точно спасет человечество, укажет ему верную стезю! А второй твой сынишка, Яков, вон он оборванный у ворот стоит. Ладно уж, впусти в дом горемыку, даже дочерей в жены всучу - надо же как-то отпраздновать

закрытие сионистского проекта и исправление "исторической ошибки"!

Можете себе теперь представить, каким траурным маршем прозвучат для Лавана слова Якова, когда через двадцать лет он неожиданно заявит: "Отпусти меня, и пойду я на место мое и на землю мою. Отдай мне моих жен и моих детей, за которых я тебе служил, и пойду я".

Куда это он намылился идти? Какая-токая "моя земля"? Лаван делает все, чтобы не отпустить Якова, и тогда последний решается на побег. С женами и детьми, с рабынями и скотом. И главное, как признается сам Лаван, "ты похитил сердце мое"... Все, все ценное, что есть в изгнании, евреи забирают с собой. Такая уж у нас работа - всюду, где пройдем, извлекать из нечистых скорлупок искры святости и нести к престолу Вс-вышнего.

Уходит, уходит Яков из галута, из стран изгнания уходит, провожаемый проклятиями Лавана, и мы уходим вместе с ним и уносим драгоценные искры человеческого гения - все до одной, и среди них те, что замурованы в перепачканные скорлупы изувеченных изгнанием еврейских душ.

Уносим замечательные строки Бродского и Мандельштама, Пастернака и того же Быкова. Уносим, зачастую провожаемые проклятиями авторами этих строк. Уходим, не оборачиваясь. Нас ждет земля, где мы стали народом, о котором сказано: "... и сделаю тебя народом завета, светом народов"! Мы уходим туда, где посреди прекраснейшего города в мире суждено вырасти Дому Вс-вышнего, сквозь окна которого наружу вырвется зажженный нами свет и озарит Вселенную. Мы уходим к себе. Прощайте, Лаваны!

ГАЛЬ НОРА

Гальперина Элеонора Яковлевна (1912-1991), (Одесса, Херсонская губ., Российская империя - Москва, Россия)

Энциклопедическое издание "Носящие вымышленное имя" посвящено неординарным выдающимся евреям. По разным причинам они взяли себе псевдонимы, приобрели известность благодаря своей созидательной творческой деятельности и стали частью не только еврейской истории и культуры. Многие евреи, которых мы знаем под псевдонимами, вписаны золотом в историю страны, где они проживали. Знаменитые писатели, музыканты, художники, ученые внесли огромный вклад в развитие культуры всего человечества. Основатель хасидизма Баал-Шем-Тов, политик Давид Бен-Гурион, деятели культуры: Шолом-Алейхем, Джордж Гершвин, Гарри Гудини, Кирк Дуглас, Илья Ильф, Фаина Раневская, Марк Бернес - энциклопедия освещает жизнь и деятельность почти 1000 личностей.

Авторы-составители этой замечательной книги - Л.А.Киржнер, И.Л.Киржнер. Ее выпустило в двух томах московское издательство "Книжники" в 2016 году.

Нельзя не отметить высокое полиграфическое качество издания, снабжение его мощным справочным аппаратом и, конечно, прекрасную работу художника.

Мы публикуем отрывки из книги, посвященные тем или иным персоналиям.

Родилась в семье врача Якова Исааковича и юриста Фредерики Александровны. С детских лет жила в Москве. Школьницей опубликовала несколько стихотворений, в студенческие годы выступила в печати как прозаик.

В 1937 г. окончила Московский педагогический институт им. В.И.Ленина и в 1941 г. аспирантуру, защитила

диссертацию, посвященную творчеству А.Рембо, публиковала статьи о классической новейшей зарубежной литературе. В конце 1930-х гг. печаталась в журналах "Интернациональная литература", "Литературное обозрение", "Литературная критика" и др.

В годы войны впервые попробовала себя в переводе (1942), после войны



Нора Галь работала редактором переводов А.Дюма, Ж.Ренара, Г.Уэллса. С 1948 г. полностью посвятила себя переводу. Благодаря ее дару перевоплощения, художественному вкусу, гибкому и точному владению языком читатель смог воспринять и оценить мастерство крупнейших писателей XX в. На рубеже 1950-1960-х гг. переводы "Маленького принца", "Планеты людей", "Писем заложнику" А. де Сент-Экзюпери, рассказов Дж.Сэлинджера, повести Х.Ли "Убить пересмешника" выводят Нору Галь в круг ведущих мастеров художественного перевода.

В последующем переводческом творчестве писательницы уживается тонкая психологическая проза XX в. (А.Камо "Посторонний", Ф.Нуриев "Хозяин дома", Э.Гамильтон "Гостиница вне нашего мира", И.Дермез "Мальчик", Р.Олдингтон "Смерть героя", К.Маккалоу "Поюшие в терновнике" и др.) с увлечением фантастикой, вылившимся в плодотворную работу над рассказами и повестями Р.Брэдли "Все лето в один день",

"Завтра конец света", У. Ле Гуин "Апрель в Париже" и произведениями К.Саймака, А.Азимова, А.Кларка, Р.Желязны, Т.Старджона, Р.Шекли.

Многие переводы Норы Галь долгое время оставались "в столе" ("Корабль дураков" К.Э.Портер переведен в 1976 г., опубликован в 1989 г.), некоторые увидели свет уже после ее смерти (романы Н.Шюта "Крысолов" и "На берегу").

В 1972 г. вышла в свет книга "Слово живое и мертвое", обобщающая ее профессиональный опыт. Выразительность и естественность языка, по ее мнению, являются ценностью не только для тех, кто профессионально работает со словом, но и для всякого говорящего и пишущего. Фрагменты книги, опубликованные в 1973 и 1975 гг. в журнале "Наука и жизнь", вызвали значительный читательский резонанс. При жизни Норы Галь книга была трижды переиздана (1975, 1979, 1987). Каждое издание дорабатывалось автором, особое значение имел дополненный четвертое издание раздел "Поклон мастерам". После смерти Норы Галь вышли еще четыре издания книги (2001, 2003, 2007, 2011).

В 1995 г. малой планете из пояса астероидов присвоено имя Норагаль. В 2012 г., к 100-летию со дня рождения, была впервые вручена Премия Норы Галь за перевод короткой прозы с английского языка.

ИСКУССТВО В ЭПОХУ ЛИБЕРАЛИЗМА И ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ

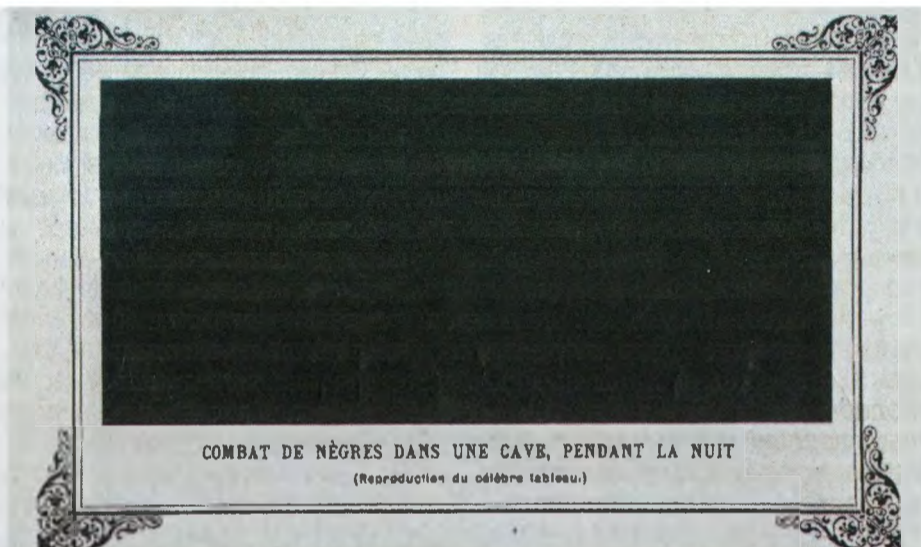
Александр ЛИБИНСОН

В нашу эпоху доминирования либерализма и политкорректности содержание многих понятий изменилось. Этот процесс не обошел стороной и искусство. Сотню лет назад под доступностью искусства понимали способность больших групп людей понимать его. Рост числа потребителей произведений искусства усилил его коммерческую сторону. В конце концов это привело к тому, что современные произведения искусства ориентированы на максимально широкую аудиторию. Говоря экономическим языком, они захватили весь потенциальный рынок. Искусство стало общедоступным и массовым.

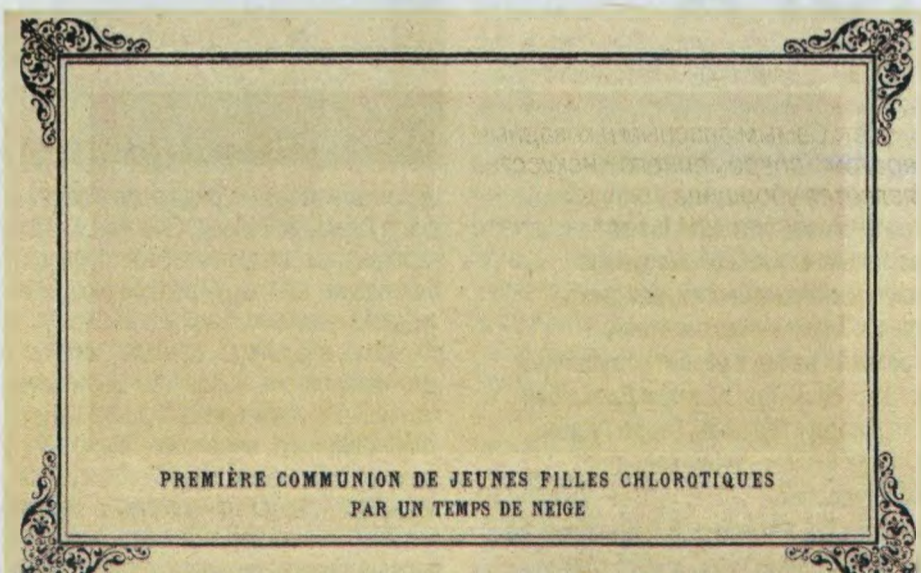
Все больше людей переходят от потребления произведений искусства к их производству. Это начинается с подросткового образования. Изучение строгих наук и инженерии не обеспечивает требования равных возможностей в смысле равных достижений. Без знания математики и понимания физических законов трудно продвинуться в этих дисциплинах. Искусство предоставляет более либеральную платформу представителям разных социальных и этнических групп, поэтому школьники и студенты все больше предпочитают обучение искусству. Для расширения доступности художественного творчества очень важно правильно использовать достижения мастеров прошлого.

Начнем с живописи. Традиционное обучение предполагает развитие чувства цвета, гармонии оттенков, изучение законов перспективы, отработку навыков рисования. Немногие могут освоить все это и вложить в обучение долгие годы. Сейчас редкий учитель рисования отважится предложить скопировать работы известных художников прошлого или даже нарисовать натюрморт. Неказистый рисунок нельзя объяснить нежеланием ученика долго и кропотливо работать: он может обидеться, что недопустимо в развитых странах в XXI веке. Но можно обратиться к малоизвестным работам.

В 1882 году Альфонс Алле написал картину "Битва негров в пещере глубокой ночью", представлявшее собой черное полотно, близкое по форме к квадрату. Он расширил использование цветов, и в 1883 году появился пейзаж "Уборка урожая помидоров на берегу Красного моря апоплексичными кардиналами", представлявший собой



Альфонс Алле. Битва негров в пещере глубокой ночью. 1882



Альфонс Алле. Анемичные девицы идут к первому причастию в снежную пору. 1883

ярко-красную одноцветную картину также без малейших признаков изображения. Кульминационной точкой его художественного творчества, видимо, можно считать его абсолютно белое полотно "Анемичные девицы идут к первому причастию в снежную пору".

Эти картины были хотя и популярны у парижан, в общем остались неизвестны широкой публике, и через три десятка лет

известного полотна. Не составит особого труда пойти дальше и разработать тему вширь (синий треугольник, оранжевое полотно и т.д.). Отсутствие навыков аккуратного рисования и даже невнимание к оттенкам цветов не будут препятствиями для создания оригинальных картин в этом направлении.

Важный шаг в продвижении новаторской концепции - белое полотно в рамке. Алле сделал его. Малевич написал "Белый квадрат" через несколько лет после "Черного квадрата", но он все же изобразил фигуру (белый квадрат с четко проведенными границами) на белом фоне. Чисто белое полотно доступно любому, не растрчивает лишних природных ресурсов, позволяет обходиться без кисти, без каких бы то ни было навыков рисования, даже просто контроля движений рук. В полном смысле слова "нерукотворное" произведение.

Борцам за чистую экологию придется по нраву еще более смелая концепция: пустая рамка. Ее производство загрязняет окружающую среду в минимальной степени. С другой стороны, она беспощадно вскрывает внутренний мир того, кто ее повесит в своем доме. В отличие от старомодных картин, она не позволит скрыть за собой даже мельчайшее пятнышко на стене.

Предельная точка развития живописи - полное отсутствие картины. Нет ни рамки, ни даже веревки, чтобы повесить ее на стену. Это "произведение" обладает рядом важных свойств, делающих его особенно привлекательным в развитых странах XXI века:

- никакого загрязнения окружающей среды;
- никакого насилия над психикой зрителя, каждый представляет, что хочет;
- нет ограничений площади, доступной на стене;
- нет проблемы сочетаемости с окружающими предметами.

И главное - никаких требований к квалификации автора.

Едва ли найдется концепция, к которой лучше подходило бы определение "искусство, доступное каждому".

Нетрудно представить себе, как сей принцип можно использовать в музыке. Это сделал уже вышеупомянутый Алле. В 1897 году он исполнил и опубликовал в специальном альбоме издательства "Оллendorф" "Траурный марш для похорон великого глухого", который не содержал ни одной ноты. Только гробовую тишину в знак уважения к смерти. Но это произведение также оставалось малоизвестным широкой публике долгие десятилетия, что, возможно, связано с конкретным названием, скрывающим ассоциативный ряд, появляющийся у слушателя.



Альфонс Алле. Уборка урожая помидоров на берегу Красного моря апоплексичными кардиналами, 1884

Гораздо успешнее оказалось произведение Джона Кейджа - 4 мин. 33 сек. тишины (первое публичное исполнение в 1952 г.). Автор учел требования доступности своего творения: оно написано для произвольного состава инструментов. Этот "шедевр", таким образом, доступен любому исполнителю. В отличие от большинства выдающихся музыкальных произведений, он не предполагает владения виртуозной техникой (строго говоря, никакой). Он даже не требует знания нотной грамоты. Такая специфика - важное преимущество, делающее это направление музыки доступным музыкантам из самых разных культур. Есть тут и другие "достоинства": исполнение подобных произведений на концертах позволит трудоустроить немало безработных музыкантов. Причем подготовка к исполнению не требует долгих репетиций и дорогостоящей аренды помещений со специальной акустикой. Такую "музыку" можно исполнять одновременно не только на музыкальных концертах. Его можно исполнять параллельно с общественными мероприятиями. Например, во время речей политических деятелей. Каждый присутствующий сможет выбрать, на чем ему сосредоточиться.

Таким образом, творения новаторов XIX века открывают огромные возможности для тех, кто хочет

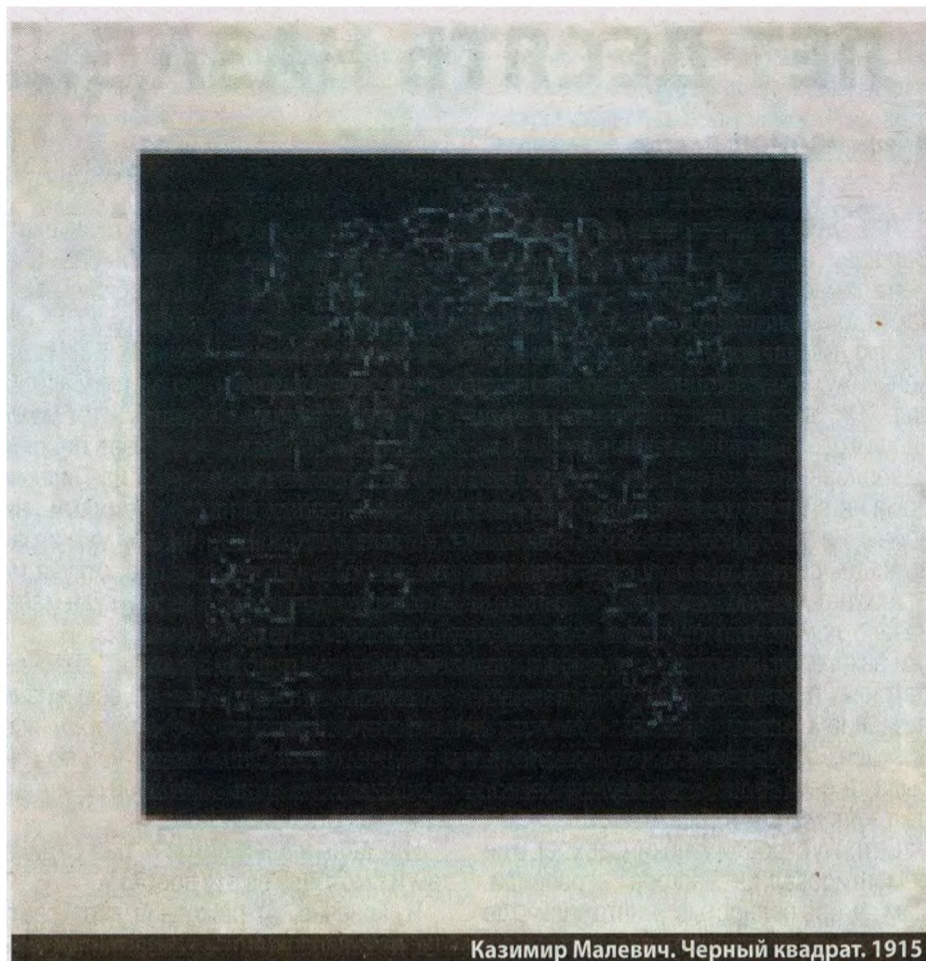
заниматься искусством в XXI веке. Они позволяют приобщиться к творчеству людям с самой разнообразной подготовкой, широким диапазоном художественной одаренности и владения техникой избранного рода деятельности.

P.S. В каждой шутке есть доля шутки. Алле был весьма ироничным человеком и относился к своим вышеупомянутым произведениям как к шуткам. Возможно, именно поэтому о них мало кто знает. Судьба "работ" Малевича и Кейджа, претендовавших на новизну содержания, совершенно иная. Об участии подобных им авторов литературных творений я пока умолчу, а то, глядишь, самому себе перекроешь дорогу...

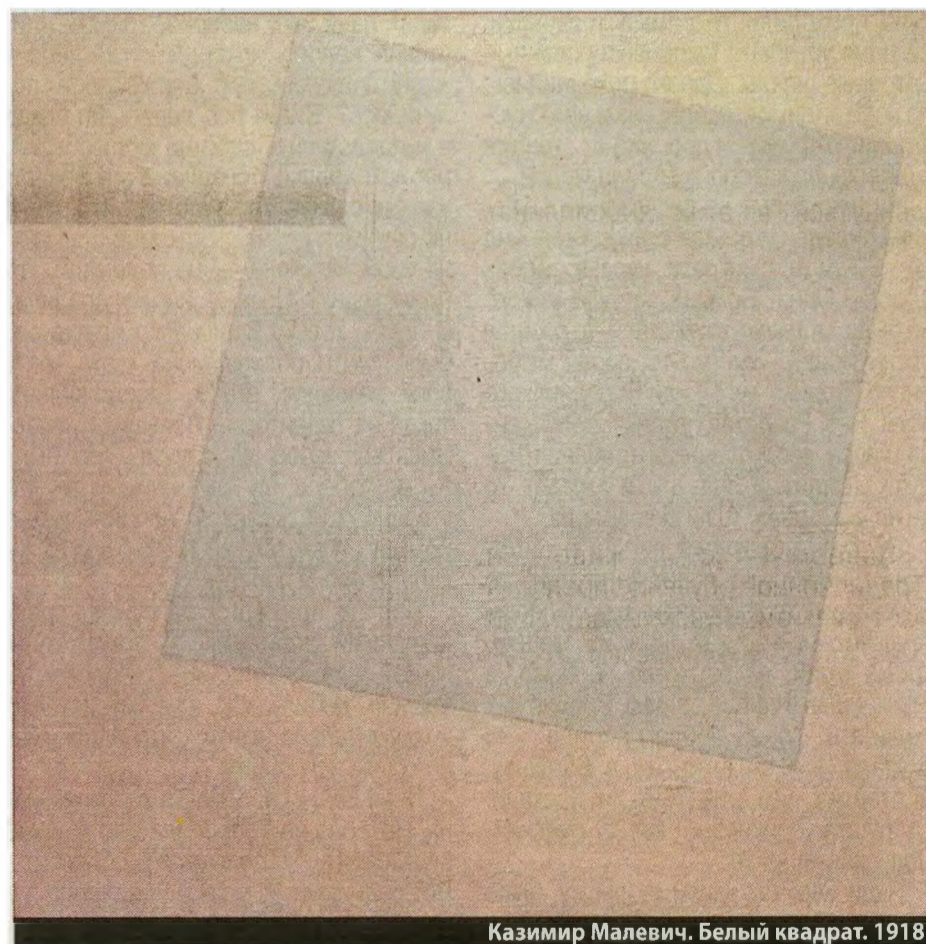
P.P.S. Что является самым коварным и опасным врагом современного искусства? Пожар? Сырость? Перепад температур? Финансовый кризис? Маньяк с ножом? Время?

Нет! Самым опасным и коварным врагом современного искусства является уборщица.

1. В ноябре 2011 года, в музее Дортмунда уборщица уничтожила произведение современного искусства, застрахованное на 800 тысяч евро. Произведение называлось "Когда начинает капать с потолка". Оно представляло собой



Казимир Малевич. Черный квадрат. 1915



Казимир Малевич. Белый квадрат. 1918

таз с небольшим количеством мутной воды, как бы накапавшей с потолка. Уборщица вымыла таз, погубив творение и обогатив счет страховой компании на 800 тысяч евро.

2. В феврале 2014 года в музее итальянского города Бари уборщица смела со стола крошки печенья и выбросила несколько скомканных салфеток. Искусство снова понесло тяжелую утрату - крошки и салфетки были частью инсталляции стоимостью в 10 тысяч евро!

3. В октябре 2015 года в итальянском Больцано уборщица полностью уничтожила инсталляцию "Где мы будем танцевать сегодня вечером?" (на фото), представляющую собой разбросанные по полу бутылки из-под шампанского, окурки и конфетти. Правда, тут обошлось без денег. Руководство музея извинилось перед авторами инсталляции (сразу два художника), и те с потрясающим мастерством всего за десять минут восстановили шедевр.



Где мы будем танцевать сегодня вечером?

ЛЕТ ДЕСЯТЬ НАЗАД...

Антон ИВАНОВ, Россия

Лет десять назад, по дороге в Варшаву я упросил навигатор вести меня самыми проселочными дорогами, какие только есть в Польше, потому что люблю тишину и сельские пейзажи и ненавижу магистрали. Навигатор сказал: "Ок, давай налево", и через пару часов я оказался посреди леса, на такой раздолбанной бетонке, каких даже дома не видал: казалось, ее еще с той войны не ремонтировали (как вскоре выяснилось, так оно и было).

Аккурат когда от сельских пейзажей начало ломить поясницу и предательски захотелось обратно на магистраль, бетонка привела в деревеньку под названием Treblinka. Я, конечно, остановился, спросил у местных. Да, это была та самая Треблинка. И мемориал был, километрах в трех, в лесу.

Бетонку строили узники. С тех пор ине ремонтировали, - "zladroga", - говорили. Сам лагерь полностью уничтожили еще немцы, заметая следы - мемориал создавали уже в 60-е годы. На том месте, куда приходили те самые товарняки, сегодня устроены импровизированные бетонные шпалы. Однако сохранились, по всей видимости, оригинальная брусчатая платформа и дорожка от станции к лагерю, по которой вводили людей.

На платформе на раскладном стульчике сидела сухонькая старушка на вид лет 80-ти и смотрела куда-то вдоль дороги. Одна. Больше вообще никого не было - в таком-то месте! Я-то ожидал сотни людей - ну, что-то, вроде мемориала "Родина-мать" или Бородинского поля. Нет. Разбитая бетонка, облупленная касса, лес и одна-единственная старушка. Сидит на стульчике и смотрит. То ли на мемориал, то ли сквозь него?

По пути обратно я нагнал ее: старушка несколько отрешенно шла по брусчатому тракту к парковке, со своим стульчиком в руках. Других машин, кроме моей, на парковке не было, а ближайшая станция далеко. Предложил подвезти, она поблагодарила, но сказала, что ей ехать аж в Варшаву. Я ответил, что мне тоже, и поехали. Старушка прекрасно знала русский. Польская еврейка.

Пани Еве, так звали старушку, было лет семь отроду, когда Варшавскому гетто было велено грузиться в товарные вагоны, чтобы ехать "на новое место жительства, где дадут работу". Ее мама, конечно, поняла, что происходит, а если не поняла, то почувствовала. Так что на самом подъезде к лагерю, когда уже был отчетливо слышен лай собак и харкающие команды полицейских, она протиснула дочь в дырку, в какую-то щель между досками вагона и выкинула прямо на рельсы - примерно в том месте, где сейчас та парковка. Дело было ночью, конвоиры не заметили, поезд проехал над девочкой и остановился метров через 500, у ворот лагеря. Тогда,

из темноты маленькая Ева видела маму в последний раз.

Еще в вагоне, успокаивая плачущего ребенка, мама наказала, чтобы она была хорошей девочкой, и они обязательно увидятся. Сейчас им надо расстаться, но скоро она вернется к ней, в их родной дом, и они снова будут пить чай. С тех пор пани Ева всю жизнь ждет маму дома, и каждую неделю печет пирог к чаю. Она никуда не уехала из Польши - ни из оккупированной немцами, ни советскими, ни из свободной уже страны. Ждет в том самом доме, откуда их выгнали, переселяя в гетто, и куда мама обещала вернуться.

Отдельная история, как девочке удалось спастись, и как она всю жизнь потом приходила на эту платформу, все надеясь, что мама выйдет к ней по той же самой дорожке, по которой ее увели, и они вместе пойдут домой.

И в день нашей встречи она сидела там и смотрела на эту дорожку.

Я, конечно, от рождения дураковат, но в тот день (видимо, под впечатлением) был особенно в ударе, поэтому задал пани Еве, наверное, самый идиотский вопрос, который когда-либо в жизни задавал вслух: "Как же это так получилось?" Видит бог, десять лет назад я и представить себе не мог событий, происходящих сегодня в любезном нашем отечестве, а потому искренне не понимал евреев, "покорно шедших" на убой. Неужели вы не понимали, что происходит? Почему вы не дрались? В одном только Варшавском гетто вас было почти полмиллиона - это треть всех немецких войск, находившихся тогда на территории Польши. И, возьми вы разом за оружие, это была бы не победа, но как минимум то, что у военных называется "неприемлемые потери". И это уже на 100% были бы не концлагеря, а переговоры.

Вот так, примерно, рассуждал среднерусский дебилушка в присутствии живой свидетельницы Холокоста. Говорю "дебилушка", а не "мудилушка" исключительно потому, что непонимание было искренним.

Пани Ева, к счастью, была умнее меня. Нет, она не попросила немедленно ее посадить, но попыталась объяснить. Вот ради этих ее слов единственно я и мучаю сегодня ваше восприятие:

- Видите ли, молодой человек, - сказала она через паузу, - это ведь сегодня просто открыть учебник и прочитать о том, что было семьдесят лет назад. Там все понятно: кто агрессор, кто жертва, сколько было в гетто, а сколько было немцев. В учебниках есть ответы, кто какие ошибки совершил и к чему они привели. Я думаю, попади к нам в Варшаву тогда такой учебник, мы бы поступили ровно, как вы говорите. Да мы так и поступили - было большое восстание. Многие бежали, присоединялись к партизанам. Так или иначе, мы очень сопротивлялись.



Понимали ли мы с самого начала, чем все закончится? И да, и нет. Конечно, многие догадывались. Старый Янек ходил по улицам в одной рубашке и кричал о том, что с нами сделают, еще даже до того, как мы переехали в гетто. Кричал нам, что надо бежать. Но его мало слушали - старого Янека сильно били еще до немцев, он побывал в польской тюрьме, все считали его городским сумасшедшим. А когда поняли, что это не так, уже было поздно. Я думаю, большинство понимали, что нас ждет, но не могли и не хотели до самого конца в это поверить. Такова человеческая природа - мы хватаемся за надежду: "А вдруг обойдется? Они же люди? За что - я же не дал никакого повода меня наказывать?"

Ведь немцы не начали сразу убивать всех подряд - нет, что вы! Сначала они установили законы. Законы - это уклад повседневной жизни. Это как раз то, что призвано не допускать кровопролития. У нас были законы для немцев, были законы для поляков и были для евреев. Законы появляются каждый день, если вы читаете газеты, ничего страшного в самом этом нет. Не станете же вы братья за оружие и называть кровавым палачом чиновника, который всего лишь обозначил заведения, куда отныне можно заходить только немцам. Вы просто принимаете новые правила к сведению и продолжаете жить обычной жизнью, уверенные в том, что все будет хорошо, если их не нарушать. Да и законы же эти были введены не все сразу. Сначала ограничили деньги, мы отдали деньги. Затем закрыли для проживания несколько районов - они называли это "карантин". Само гетто появилось только через год, и за выход из него поначалу даже не наказывали. Потом только стали сажать в тюрьму. Убивать начали еще только через год. И сначала только тех, кто действительно серьезно нарушал правила. Тех, кто соблюдал, по-прежнему не били. Я думаю, люди до

последнего надеялись, что если будут законопослушными, будут делать, что им говорят, то их не тронут. Надежда, она ведь не умирает до самого конца, как говорят у вас в России. Даже когда нам приказали садиться в эти вагоны, умом мы понимали - не я, конечно, взрослые, - но не могли это принять, надеялись. Вот я и сегодня прихожу к этим воротам - там когда-то были ворота, в которые все они ушли, - я прихожу сюда не потому, что я не понимаю. Я все прекрасно понимаю, что тогда произошло. Но я всегда надеюсь, что если... что вдруг...

...Пани Ева была готова заплакать, но не позволила себе в моем присутствии. Доехали молча.

Десять лет прошло, уши у меня пылают до сих пор.

Так, собственно, в связи с чем я вспомнил эту историю. На днях, листая ленту фейсбука, зацепился взглядом за комментарий под постом, по-моему, о задержанных на акции протеста. Очень характерный для нас комментарий, суть которого сводилась примерно к следующему: "Да-да, мы все поняли и уже устали от вас. Уважаемая Нателла Болтынская (кажется?), вы и так уже сделали здесь слишком много постов на эту тему, уймитесь". Или что-то в этом роде.

Помню, первое, что подумал тогда: "Они что, правда ничего не понимают?" И да, и нет? Или, может, большинство все прекрасно понимает, просто мы абсолютно, непоколебимо уверены, что если будем послушными, будем соблюдать правила и делать, что нам говорят, то команды грузиться в вагоны, может быть, никогда и не поступит? В конце концов, у нас же нет учебника, мы ничего не знаем наперед, верно? А вот то, что, если будем бузить, побьют точно, это знаем наверняка. А старый Янек, который ходит тут и кричит - так он просто городской сумасшедший, это вам всякий в гетто скажет.

Я ВАМ БУДУ ДЕЛАТЬ ЦИРК!

Александр ПАЩЕНКО, Одесса

Дело было в начале семидесятых. Нам было лет по шесть - восемь. Мы торчали во дворе целыми днями.

Иногда родители осыпали нас золотым дождем (обычно в размере десяти копеек). Тогда мы бегали за мороженым в гастроном на углу Комсомольской и Тираспольской, и нувориш давал всем по разу откусить.

Фруктовое мороженое стоило семь копеек.

Это когда была смена не тети Маши. Тетя Маша была та еще зараза и всегда недодавала копейку-две сдачи. Было обидно. Ведь три копейки - это как раз стакан газировки с сиропом.

На смене было две или три продавщицы, но тетя Маша была вездесуща.

- Перетопчетесь, нет у меня мелочи, - нагло лыбились она.

И мы перетаптывались. А что делать? И всех взрослых она обсчитывала и обвешивала вчистую, а уж нас-то...

Туда, на угол перед этим "Гастрономом", и приходила Циркачка.

Для нас это был невероятный, волшебный, задыхательный праздник. Все равно как гонки по вертикальной стене - которые то на Привозе, то в парке Ильича свой шатер ставили.

Дети обожают сумасшедших. А эта бабулька была ненормальной на всю голову.

Это была глубокая старуха. Очень прямая, как балерина. Всегда в какой-то дикой шляпе с вуалеткой и ломаными перьями, всегда с приколотой у ключиц янтарной брошкой, ярко накрашенными губами и жирно подведенными глазами.

Целыми днями она каталась то на 4-ом, то на 21-ом трамваях, что-то бормоча себе под нос. Но каждый день в районе обеда желание поддаться на шептывало старушке, что пришла пора потрудиться.

Она жила, наверно, где-то у Тираспольской площади. По крайней мере, приходила откуда-то оттуда по улице 1905 года, чтобы поработать у "Гастронома". И приходила очень эффектно.

Она с достоинством семенила по тротуару, а рядом трусила ее собачка - размерами с болонку, но до того лохматая, что любая болонка на ее фоне казалась голой. Со всех сторон из собачки торчали лохмы грязной свалывшейся шерсти, так что ее перед от зада можно было отличить только по направлению движения.

В другой руке бабулька несла кнут. Но какой! К ножке от стула был привязан двухметровый кусок каната толщиной с руку крепкого мужика. Свободный конец каната был завязан страшным узлом. Таким кнутом можно было свалить быка.

Бабушка яростно и гневно орала собачке матом:

- Вперед, ...! Пошла! Вперед, твою мать!

И со всего замаха зло хлестала смертоносным узлом по тротуару, поднимая пыль.

Так они подходили к "Гастроному". На тротуаре напротив входа бабулька останавливалась. Собачка плюхалась на асфальт и сразу становилось непонятно, где у нее башка, а где - хвост.

К этому времени уже начинали собираться зеваки. Бабулька обводила всех гордым и строгим взглядом и объявляла:

- Внимание! Щас мы будем делать вам цирк!

Она клала на асфальт кусок картонки или тряпку для сборов.

И действительно начиналось представление!

Это была длинная, невероятно сложная программа. Туда были собраны известные трюки от лучших дрессировщиков мира, и добавлена даже парочка новых реприз.

Подобранная ветка превращалась в обруч, кирпич - в тумбу. Яростно хлопая перед хлипкой собачкой кнутом, бабулька орала:

- Ап! Ап, холера! Молодец! Куда? Ап! Ай, молодец! Теперь на бис! Кувырок! Перекат! Молодец. Ап! Ап, скотина! А теперь - на задних лапах!

И материла несчастное животное в хвост и в гриву.

Смертоносный хлыст порхал бабочкой над цирковой ареной, заставляя публику вжимать голову в плечи.

Насчет уровня программы могу сказать только, что в ней была даже ходьба собачки на передних лапах по свободному канату и тройное сальто назад! Никакой Запашный или Дуров и близко не стояли к этой безвестной дрессировщице.

Благодарная публика кидала на картонку мелочь.

Укротительница косилась одним глазом на заработанное, пытаясь прикинуть размер даров, и начинала очередной невероятный номер. Кнут-убийца снова с жутким воем рассекал воздух.

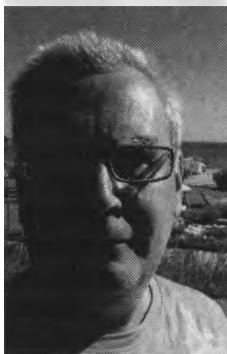
- Ап! - орала укротительница. - Ай, молодец! Еще раз! Теперь - стойка на одной задней и поклон! Ап, сука!

Бабулька добросовестно отработывала каждую копейку сборов.

А собачка - та как шлепалась на асфальт по приходу, так и лежала не шевелясь все представление. Иногда она, похоже, храпела во сне. Но за бабкиным ором точно сказать было сложно.

Как только дрессировщица убеждалась, что на бутылку точно хватит - представление обрывалось внезапно, на полужуке. Непоследовательная циркачка без какого-то перехода начинала с воплями размахивать страшным хлыстом над головами зевак.

- А ну, пошли отсюда! Или вам тут цирк? Я вам щас покажу цирк, мать-мать!



Зеваки торопливо расходились: кнут был ужасен. Бабулька сгребала мелочь и, ведя проснувшуюся собачку, шла в гастроном. Мы, дети, крались следом, потому что знали, что представление еще не окончено.

Прямо у дверей был колбасный отдел. Слева - отгороженный решеткой винно-водочный.

Шагнув за двери, циркачка останавливалась и начинала долго, мутрно, то и дело сбиваясь отсчитывать мелочь.

Собачка спокойно садилась рядом и смотрела на хозяйку.

Укротительница боролась с премудростями устного счета.

Она каждую секунду забывала, сколько стоит возделенная бутылка шмурдяка. Тогда опять разглядывала сквозь решетку ценник.

Взгляд ее тут же съезжал на сам продукт винно-водочной промышленности Молдавской ССР, к которому ценник был прислонен. Бабулька начинала трепетать в предвкушении. Даже перья на ее аристократической шляпке начинали мелко трястись.

Всей душой, всей силой страсти Циркачка рвалась туда, за решетку, к своей мечте.

Собачка спокойно смотрела.

Бабулька начинала кидать на нее косые взгляды.

Собачка сидела, не двигаясь - и смотрела.

Циркачка любовалась шмурдяком, облизывалась и счастливо вздыхала.

Собачка смотрела.

- Нет, - отрезала дрессировщица, в пятый раз начиная заново считать.

Собачка смотрела.

- И не мечтай, мать-перемать! - орала Циркачка.

Собачка смотрела.

Кончалось это всегда одинаково: бабулька с трехэтажным матом швыряла так и не сосчитанные медяки в тарелочку на прилавке колбасного отдела, и с ненавистью орала:

- Любительской! На все!

И потом совала толстое колбасное полено болонке:

- На, сволочь. А, чтоб ты подавилась!

И они медленно уходили по Тираспольской куда-то к площади: грязная кудлатая собачка, с достоинством несущая в пасти колбасу, и поливающая ее на всю улицу Циркачка в безумной шляпке.

Так было всегда. На нашей памяти старуха бутылку себе так ни разу и не купила.

А потом наступил день, когда лохматая собачка прибежала к гастроному одна.

И кто-то сказал, что Циркачка умерла.

Собака шлепнулась на асфальт и сразу стало непонятно, где у нее голова, а где хвост. Она не скулила. Лежала неподвижно. Как всегда. Может быть, она спала.

Вокруг собралась толпа.

Через какое-то время собачка

решила, что представление кончилось. Она ведь добросовестно отработала свою обычную программу. И с чистой совестью болонка посеменила в гастроном за колбасой.

Навстречу ей вихрем вылетела тетя Маша.

Тетю Машу как раз сегодня навестила санэпидстанция и все, праведно нажитое обсчетом и обвесом, перекочевало в карманы гоп-стопщиков от медицины.

- Куда лезешь, сука вшивая? Мало мне штрафов? - заорала тетя Маша и подфутболила моську своим сапогом сорок седьмого размера.

Собака перелетела через весь тротуар. И врезалась бы в бочку кваса, но ее поймала наша знакомая почтальонша и унесла в двадцатое отделение - на Кирова, за углом.

Тетя Маша посмотрела на толпу, все поняла, и с визгом "убивают!" унеслась в подсобку.

Нет, ее не тронули. Но и не простили. Взрослые, которые безропотно годами терпели обсчет и недовес, возненавидели тетю Машу за этот пинок.

Теперь при любой попытке схимичить покупатели требовали книгу жалоб, писали директору магазина, в торг, в ОБХСС, в прокуратуру, в райком и газеты.

Не прошло и недели, как у прилавка тети Маши появились два неприметных покупателя, что-то попросили взвесить, рассчитались - а потом махнули корочками, при понятых пересчитали сдачу, поставили на весы принесенную с собой гирьку - и больше мы тетю Машу никогда не видели.

Собака категорически отказалась поселиться у кого-то дома, хотя ей предлагали неплохие варианты. Она так и осталась жить на улице, на этом кусочке Тираспольской у гастронома.

На углу Кирова ей построили маленькую будку.

Целыми днями собачка лежала на картонке у "Гастронома". Наверно, ждала свою Циркачку.

Рядом с ней стояла плошка с водой и коробочка для мелочи, куда прохожие кидали копейки.

Кто не жил в наших краях и не знал этой истории - те удивлялись, что это за сбор в пользу шелудивой шавки.

Аборигены не обижались. Они снисходительно к такому вопиющему невежеству объясняли:

- Сам ты шавка. Эта собака умеет делать цирк!

В районе обеда кто-то (обычно это поручали магазинному грузчику Грише, как признанному мастеру изящной словесности) собирал мелочь, заходил с собачкой в колбасный отдел, брал шмат колбасы - и совал ее псине с многоэтажным матом:

- Жри, мать твою!.. Жри, сука! Жри, холера! А, чтоб тебя!..

Только внимательно дослушав до конца, собака брала колбасу и с достоинством уносила ее в свою будку.

Есть как-то иначе - без этой словесной прелюдии - она не умела.

Залман Ёрш

ПУГАЧЕВ

"Как это было! Как совпало -
Война, беда, мечта и юность.
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!"

Давид Самойлов

Пугачев - районный центр, расположенный на реке Иргиз, левом притоке Волги, до 1918 года был Николаевском. Здесь Емельян Пугачев объявил себя Петром III, а Василий Чапаев формировал свою 25-ю дивизию в Николаевских казармах. Пугачев - один из тысяч городов большой России, в каждом из них кто-то знаменитый жил и что-то судьбоносное происходило. Город я так и не увидел, для меня Пугачев - это станция, вокзал и привокзальная площадь.

Жили мы там меньше года - осень, зиму и весну 1944-1945 годов. Нас было трое, мама, старший брат одиннадцати лет и я, на полтора года младше. В Пугачев мы приехали из туркменского города Байрам-Али, а бежали из Лудзы, в Латвии.

Первую бомбежку мы пережили на станции, отец через поле вывел нас на дорогу в сторону границы с Россией, из прошлой жизни с нами был ключ от квартиры. За нами стал охотиться немецкий самолет, пролетая над нами низко, он стрелял, отец ложился на меня, но я видел фонтанчики из земли, поднятые пулями, прямо перед нашими головами. Мне удалось вырваться из рук отца, и убежать в ржаное поле. У немца, видимо, кончились патроны. Через несколько дней, мама заметила, что я поседел. Было 27 июня 1941 года.

Беспрестанные налеты, бомбежки, стрельба, испуганные и растерянные красноармейцы, убитые и раненые. На станции Великие Луки нас определили в вагон с семьями партийных и советских работников Риги. Наш эшелон покинул станцию за 10-15 минут до начала страшной бомбардировки, после которой не осталось ни вокзала, ни путей. Мы слышали вой немецких самолетов и взрывы, земля под вагоном ходила.

Наш поезд двигался вглубь России с частыми и длительными остановками, оставляли по одному вагону. Нас выгрузили в Шарье Костромской области, поселили в пионерском лагере. Хорошо помню гипсового горниста, по-казенному застеленные металлические кровати. В Шарье мы пробыли два месяца, затем был Ашхабад и, наконец, Байрам-Али.

Нам выдали одежду, обувь и ватное одеяло. Поселили в бараке, пол был земляной. Зимы были дождливыми, снега не было ни разу. Запомнились величественные и неторопливые старики в халатах и высоких меховых шапках. Женщины в длинных платьях с многорядными ожерельями из монет, на голове у них был высокий головной убор, как у Нефертити.

Недалеко от нашего барака был шумный восточный базар. Туркмены продавали виноград, дыни и арбузы, лепешки. Молоко, творог, мацони, яйца продавали русские, высланные из Сибири. Активнее всех были польские евреи, которых было много. Между собой они разговаривали

по-еврейски, на идише, торговали всем, от золота до детских игрушек.

Отца отправили руководить каким-то кооперативом, приходя с работы, он говорил, что все воруют, и боялся, что его за это посадят в тюрьму. В тюрьму его не посадили, через месяц призвали в армию, служил он в Латышской дивизии, попал в Старорусский котел. Чудом, без сознания, был вывезен в Москву, в госпиталь, где провел полгода. После госпиталя, был комиссован, признан нестроевым. Всю оставшуюся жизнь страдал от тугоподвижности суставов. Через два месяца, после возвращения из госпиталя, его снова мобилизовали, было лето 1942 года.

Для нас началось время голода и нищеты. В Байрам-Али я впервые заработал деньги, помогая кузнецу, инвалиду с одной ногой, делать ободья для собачьих повозок, на которых вывозили раненых с поля боя. Повозки были низкими, узкими и длинными, на маленьких колесах. Кузнец ковал обод, затем ладил его на деревянное колесо. Меха были не большими, мне удавалось короткое время качать длинную ручку, стоя на табурете. Кузнец делил со мной свой обед, иногда давал пять рублей, очень малые деньги.

Мы с братом пытались продавать воду, заматывали ведро влажной тряпкой, чтобы вода не нагревалась, и шли на рынок. стакан был один. Заработать удавалось не больше четырех-пяти рублей.

Мама уходила рано и возвращалась поздно вечером, работала тяжело на погрузке зерна и жмыха. Однажды она в трусах принесла горсточку пшеницы, постелив одеяло, вытрясла зерно, которое мы собирали по зернышку. За кражу зерна давали десять лет тюрьмы, пережив однажды страх, она больше никогда ничего не приносила.

В Байрам-Али мы были совершенно одиноки. Узнав, что старший брат мужа находится в Пугачеве и работает начальником железнодорожной санчасти, отец его попросил позаботиться о нас. Брат не возражал. Документы на проезд нам выдали в военкомате.

Вещей у нас было мало, все уместилось в небольшой мешок, сшитый из матрасной ткани. Из этой же ткани были наши штаны. Мама надела папин довоенный пиджак. До Ташкента, где у нас была первая пересадка, ехали в переполненном вагоне, все было занято мешками и баулами.

Ташкентский вокзал поразил своими размерами. Была осень 1944 года, беженцы возвращались в освобожденные места. В привокзальном саду люди располагались семьями, здесь спали, готовили еду на примусах, резвились дети. Было много инвалидов в военной форме. Для того чтобы компостировать билет, надо было получить справку о санобработке, все должно было быть мыться в бане, за это время одежда подвергалась дезинфекции. Мама боялась нас потерять и заставляла нас держать ее за платье. Чтобы не отпускать нас, она подарила девушке в окошке почтовый флакон одеколона. Нам пришлось



Мама и мы



Мы, чуть постарше

стоять голыми между горячих бочек, в которых жарилась одежда, а затем пройти мимо окошка с другой стороны.

Флакон одеколона привез отец, когда вернулся из госпиталя, в командирской форме он выглядел молодым и красивым. Была у него интересная американская машинка для заточки лезвий, в ней были два валика и блестящие детали. Все приводилось в движение маленькой ручкой, валики точили лезвия с двух сторон. Точилка долго служила и после войны. Отца вскоре снова мобилизовали, одеколон, видимо, он забыл.

В Саратове мы без усилий сели на поезд в Пугачев. Это была тупиковая станция, вагоны были почти пустые, с выбитыми окнами. Прибыли мы днем, никто нас не встретил. Железнодорожник показал на деревянный дом метрах в ста от вокзала, довольно большой, обшитый и покрашенный. Дядя принял нас приветливо, но не помню его смеющимся, раз в месяц он становился более разговорчив, это был день полочки. Жена дяди, то есть тетя, которую звали Бася, строго наказала называть ее Василиса.

У них было двое детей. С ними жила теща и еще какой-то мужчина, который появлялся наездами.

Пару ночей мы проспали на полу, затем тетя отвела нас к небольшому дому на

другой стороне привокзальной площади, в нем жила пожилая женщина с хромой одинокой дочерью. Вход в дом был со двора. Из сеней направо дверь вела в горницу, а другая напротив, с маленьким оконцем в чулан, где хозяйка держала козу с козлятами. Козу убрали в сарай во дворе, козлят оставили, в сарае они могли заболеть.

В чулане был низкий топчан с матрасом, набитым сеном. В углу кучка мелкого каменного угля. Жестяная печка с угловой трубой располагалась в центре. Козлята вели себя по-хозяйски, оставляя следы не только на полу, но и на топчане.

В доме, кроме горницы, были еще две комнаты, в которых спали хозяйка и дочь. Там стояла празднично убранная кровать с никелированными шарами, стол со стульями, комод, украшенный салфетками и слониками. В красном углу было несколько икон. Вход в спальню был закрыт цветными занавесями. В дальнем углу комнаты стояла высокая печка. Все это я увидел в день прихода, до того как нам показали наше жилье.

Хозяйка объяснила, как растапливать печку и предупредила, что нельзя закрывать задвижку полностью. Вечером мы хотели согреть чулан, но нам не удалось, угольная пыль тлела, не создавая пламени. Заснули мы в верхней одежде, накрывшись одним одеялом. Утром у нас были черные от угольной пыли лица и руки. Мылись во дворе холодной водой из колодца. На нашей печке чайник не закипал, и хлеб запивали теплой водой.

В школу, которая находилась примерно в километре от вокзала, нас не приняли, аккуратная и строгая женщина в белой кофточке не пустила нас в кабинет. В большом и светлом коридоре, у дверей, она сказала маме, что в школе нет мест. Причиной, видимо, был наш убогий вид, а может быть, запах козьего навоза. Всю дорогу от школы мама плакала в голос, мы с братом шли за ней. Мне было жалко маму, но я не понимал, что ее так расстроило.

Становилось все холоднее, в октябре выпал снег. Зимы здесь суровые, снежные и бурные. Хозяйка часто напоминала, что углем надо пользоваться экономно. Большой удачей было возможность

погреться в коридоре санчасти. Когда топилась печка, мы усаживались на пол и грели руки и ноги. Приходили письма от отца, мама читала их вслух. Однажды, сидя вместе с нами на топчане, она сказала, что если ляжет под паровоз, нас, как сирот, заберут в детдом, и мы с братом будем в тепле и сыты. Много раз я представлял ее истощенную и нелепо одетую, перед надвигающимся громадным и старшим паровозом. Исполнить задуманное ей не позволила дежурная по станции, она отвела ее к себе домой, обогрела и накормила. Дала несколько вареных картошек для нас. Через несколько дней мама растопила печку, когда стало теплее, уложила нас рядом с собой. Я не видел, как она закрыла задвижку. Заснулы мы быстро. Проснулся от крика и холода. Кричал отец. Мы лежали во дворе на снегу, брат с открытыми глазами, а мама без сознания. Отец растирал ей лицо снегом и кричал: "Дыши глубоко!"

Мама долго не приходила в себя. Хозяйка и дочь стояли в дверях. Временами отец подбегал к ним и тряс перед их лицами какой-то железкой, думаю, наганом. Не помню, что он им кричал, но незнакомое слово "суки" запомнил.

Меня поразило, что отец не был похож на храброго и красивого командира, каким я запомнил его после госпиталя. Он выглядел очень усталым и старым. На нем была фуфайка, подпоясанная ремнем, старая шинель с помятыми погонами валялась на снегу, на погонах, лычки в виде креста. Отец привез с собой несколько солдатских вещмешков. Как только мама пришла в сознание, он внес ее в горницу и уложил на празднично прибранную кровать, мама не понимала, что происходит. Она все время повторяла: "Яша, это ты?"

Было совсем темно, когда она стала наконец понимать, что происходит, и расплакалась. Отец занес в дом вещмешки, в них было несколько буханок хлеба, кусковой сахар, американские консервы, мыло, портянки и две фуфайки. Хозяйка принесла чайник с кипятком, и мы пили сладкий горячий чай.

Отец рассказал, что служит сопровождающим маршевых рот, в прифронтовом Львове из его роты сбежало несколько башкир, все из одного колхоза в Саратовской области. Его отправили найти и привезти их обратно во Львов. Начальник разрешил навестить семью, удивительно, что запомнилась фамилия начальника, майор Шиловцев. Отец говорил, что война скоро кончится и мы уедем домой, он убежал в ночь. Мы остались в теплой комнате с печкой, столом, стульями и с большой кроватью. Хозяйка забрала несколько икон, а дочка слоников.

Вскоре после приезда отца, пришла мамина спасительница, ее звали Мария, и отвела нас в железнодорожную баню, избушку рядом с водокачкой. Предбанник был очень тесный, света не было. Из-за темноты и большого пара, ничего не было видно, мы мылись из одной шайки, мама несколько раз мылила рогожу и сдирала с нас грязь. Это был момент большого счастья.

В горнице мы жили более месяца, по-прежнему были обуты в рукава от фуфак,

но у нас появились уродливые калоши, склеенные из немецких противоголовок, можно было просушить у печки мокрую одежду. Часто заглядывала Мария, ее муж-железнодорожник тоже был в армии. Она всегда приносила что-нибудь съестное, чаще ломоть белого хлеба, который назывался знакомым словом "хала".

Месяца через полтора после приезда отца, когда начал таять снег, к нам приехал на машине офицер из военкомата, отвез маму на склад, где хранились вещи, полученные от американского фонда помощи. Одежда была новая или почти новая. Маме дали два больших картонных ящика и сказали, чтобы она уложила в них нужные вещи. Ей сказали, что нас отправят в Латвию согласно указанию из канцелярии Калинина. В ящиках, которые привезла мама, была одежда для всей семьи, пальто, рубахи, штаны, чулки и гетры, платье.

Мне достались ботинки, коричневые на толстой подошве, они были велики, но очень нравились, эти ботинки я носил несколько лет после войны. Помню маму в широкой шерстяной юбке в крупную клетку, в зимней меховой шапке и блестящих сапожках.

Пришло письмо от отца, из Львова он послал письмо Калинину и получил ответ, что о нас позаботятся. Наша жизнь в горнице кончилась неожиданно, пришла Мария со старшим сыном, мальчиком старше нас, велела нам собираться. Мы дружно по распутице потянули салазки к дому рядом с вокзалом. Мария с двумя сыновьями занимали большую комнату с высокими окнами, кроме комнаты, была еще просторная кухня. В квартире было постоянно тепло. Мама варила обеды, продукты приносила Мария из магазина для железнодорожников. Это был недолгий обустроенный период жизни в Пугачеве. Перед уходом от хозяйки мама подарила дочери что-то похожее на одеяло, думаю, плед. Видимо, отец сумел договориться, чтобы хозяйка не выгнала нас, но сказать уверенно не могу, в семье никогда не говорили про жизнь в Пугачеве. Дядя приезжал один и с детьми, один раз была и Бася, которая Василиса. Мама приветливо принимала их.

Пережитое в Пугачеве не забылось и видится картинно, как будто не прошло более полувека. Каждый раз, когда я слышу "Прощание славянки", вспоминаю проводы солдат со станции. Это хрестоматийный эпизод из сотен книг и фильмов про войну. Раза два в месяц от перрона отправляли несколько теплушек с солдатами в Саратов, там формировался воинский эшелон. Солдаты приходили строем из Николаевских казарм, расположенных за городом, шли без песен. Шапки-ушанки были завязаны на тесемки. Большинство солдат были среднего возраста, они возвращались после лечения в госпиталях. Были и солдаты последнего призыва, поскребыши, хилые подростки голодного военного времени. Кроме нас, любопытных мальчишек, на перроне стояло несколько женщин, матери и жены, сумевшие добраться из ближних мест, все тепло одеты и обуты в валенки. Обычно они стояли, прижав к себе сына. Вначале

никто из них не плакал. Большинство солдат заходили в вокзал, снимали ушанки и усаживались курить, на нас они внимания не обращали. Приходил оркестр из четырех человек. На перрон выносили деревянную тумбу. Ко времени на конных саночках привозили старого генерала, в папахе и красивой шинели. Раздавалась команда и все, кроме мальчиков, стоящих с мамами, забирались в теплушки. Появлялся оркестр и становился справа от тумбы. Выходил из вокзала генерал и с тумбы произносил речь.

Страшный женский вой начинался после команды на посадку. После громкой речи генерала вступал оркестр, играл всегда "Прощание славянки", без прерыва, пока состав не покидал пределы станции. Однажды после речи генерала, состав уже тронулся, из теплушки выпрыгнул молодой солдатик, он бежал по снегу к тропе, на которой мы стояли. Тропа шла параллельно путям. Из другой теплушки прыгнул, надо полагать, офицер, тоже молодой, бежал намного быстрее солдатика. Когда расстояние между ними стало коротким, раздался не громкий хлопок, беглец какбудто споткнулся, а потом упал

в сторону от тропы лицом в снег, никто не подошел к подстреленному, а может убитому. Оркестр играл, поезд еле двигался, пока офицер не впрыгнул в теплушку.

В конце апреля, когда было уже тепло и зелено, маму вызвали в военкомат и выдали проездные документы в Латвию. Второго мая мы покинули Пугачев, провозжала нас Мария с сыновьями, женщины плакали. В Саратове провели ночь, офицер из военной комендатуры посадил нас в поезд на Москву. Пятого мая приехали на Ржевский вокзал. Царило настроение свершившегося чуда, незнакомые обнимались и целовались, люди плакали и смеялись. Из репродукторов неслаб громкая веселая музыка. Офицеры раздавали детям кусковой шоколад и галеты, на экране у входа в вокзал беспрестанно показывали, как водружают знамя над рейхстагом. По вечерам играл духовой оркестр, на площади перед вокзалом танцевали.

В ночь с девятого мая, когда начался салют, мы покинули Москву, через день приехали на станцию, с которой бежали четыре года тому назад.

Коротко о себе

Родился в Латвии, гор. Лудза (Люцин), в 1935 году. В 1960-м, с дипломом врача по собственному желанию вернулся на родину и начал работать хирургом. Планировал здесь выйти на пенсию. Через полтора года, по стечению обстоятельств, был назначен заведующим отделением. Все складывалось гладко и красиво.

Ранним утром, перед работой, в 1963-м, решил проветрить голову в ближнем лесу. На опушке заметил округлой формы подобие клумбы поверх сухой травы, покрытой золотыми осенними листьями. Рядом располагалась примитивная скамейка - доска, прибитая к пенькам. Заглушив мотоцикл, я сел и закурил. Из лесу на телеге выехал мужик, поздоровался, слез с телеги и сел рядом и для начала разговора попросил прикурить. Поговорили о ладном бабьем лете, за жизнь. Он спросил, часто ли я сюда заглядываю, я сознался, что впервой, не знал, что такое красивое место рядом.

- Наш хутор, - сказал он, - тут по соседству, не больше полкилометра. Сразу, как немцы пришли, евреев убивать стали, первую группу привели сюда. Как тут крики и стрельба началась, мы прибежали, и из-за деревьев все видели. Наши люцинские парни, пьяные, из ружей их стреляли и в яму спихивали недобитых. Потом землей присыпали. Земля над убитыми волнами ходила. Которые стреляли, одежду делить стали. Потом все снегом покрылось. Весной, когда снег сошел, яма образовалась, отец велел землей засыпать, чтобы бугор появился, думаю, ксендз посоветовал...

Меня осенило, в этой могиле могут быть мои сверстники, с которыми я ходил в хедер или в детский сад. Мог оказаться и я.

Рассказывал мужик ровным голосом, не проявляя своего отношения. Мое молчание, видимо, его удивило, он



вернулся ко мне и увидел мои слезы, они появились независимо от моего желания. Мужик понял, что ошибся. Быстро встал и пошел к телеге.

Вечером я сообщил родителям, что уеду, еще не решил куда, но уеду точно. Я учился на врача, лечить людей - не на ветеринара. Не хочу родственников зверей лечить.

Через две недели я уже был в Ленинграде, на четвертый день приступил к работе в больнице им. Ленина. В 1968 году стал кандидатом наук. Работал в Институте травматологии, на кафедре топографической анатомии ВМА, добровольцем в Институте нейрохирургии и много еще где. С 1972 года - хирург высшей категории. Последние двадцать лет заведовал гнойно-септическим отделением. Занимался наукой по теме использования полимеров в хирургии и рожистым воспалениям. Печатался во всеобщих хирургических журналах, выпускал методические руководства для лечения гнойных ран и сепсиса.

В Израиль приехал в январе 1991 года, работать в больнице начал до окончания ульпана. Около десяти лет работал ортопедом в поликлиниках. После выхода на пенсию стал консультантом в частных учреждениях.

ШОША

Экспедиции души

Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР

Мы сидели в темноте: доктор Файтлзон, Хаимл Хенчинер, Циля и я - и проводили экспедицию души. Остальные ушли спать. Электрические лампы, висевшие во дворе на проводах и освещавшие виллу в начале вечера, были уже выключены. Прислуга и повар убрали со столов еду и вино. Птицы, разбуженные суетой ночной трапезы, слетелись к столу и склевали все крошки. Теперь они вновь устроились на ночлег на ветках сосны. Только цикады не умолкали. Время от времени их стрекот превращался в звон, словно от колокольчиков. Оргия, которую годами планировали за "столом импотентов" и у которой были все шансы осуществиться сегодняшней ночью, так и осталась фантазией. Фриц Бандер, специалист по оргиям, напился до того, что его вытошнило на траву, после чего он упал в собственную блевотину. Рашбам попытался танцевать, с Гретл, но, бедняга, ослабел и был вынужден пойти прилечь. Довид Липман, режиссер, низкорослый и круглый, как бочка, с длинными волосами вокруг лысины и большими мешками под глазами, икал от обилия еды и вина, и его жена Эстуша, тоже маленькая и кругленькая, под стать своему мужу, уговорила его пойти полежать. Сэм Дрейман так много говорил и кричал, что охрип. Его лицо странно покраснело, Бетти дала ему таблетку и удалилась с ним в спальню. Вскоре семья Эльбы тоже ушла спать. Я и сам устал, но любопытство понаблюдать за экспедицией души взяло верх над усталостью.

В комнате, где мы сидели, была открыта дверь на веранду. Луна взошла, она светила в комнату, как железнодорожный прожектор. Было тепло, и мы сняли пиджаки. Циля переделась в халат. Файтлзон положил сигару в пепельницу, время от времени он брал ее в руку, затягивался, и тогда вспыхивало красное пятно. Я услышал, как он произнес:

- Экспедиция души - это не психоанализ. Прошу тебя, Хаимл, больше не упоминать этого слова. В психоанализе доктор - это доктор, а пациент - пациент. А здесь мы все пациенты. Кроме того, в психоанализе пациент говорит только о своих невзгодах, но это однобоко и неверно с любой точки зрения. В человеческой психике все перемешано: заботы о финансах, зубная боль, семейные трудности, личные амбиции, взаимоотношения с родственниками, соседями, конкурентами. Экспедиции души воздействуют на человека в целом, не деля его искусственно

Роман Исаака Башевиса Зингера с интригующим названием "Нешоме-экспедицес" (буквально "Экспедиции души") был впервые опубликован на идише в нью-йоркской газете "Форвертс" в 1974 году и до сегодняшнего дня оставался совершенно недоступным широкому читателю. Такое название автор заимствовал из работ психоаналитического толка, которые издавались на идише в двадцатые годы. Башевис Зингер описывает еврейскую богему предвоенной Варшавы, которая развлекается психологическими сеансами с примесью хасидизма, мистическими "экспедициями в подсознательное".

Через четыре года после первой публикации выходит существенно переработанная автором английская версия романа с простым названием "Шоша", которая сегодня известна читателям во всем мире.

В том же 1978 году Исаак Башевис Зингер получает Нобелевскую премию по литературе "за эмоциональное искусство повествования, которое, уходя своими корнями в польско-еврейские культурные традиции, поднимает вместе с тем вечные вопросы".

Книга выпущена издательствами "Текст" и "Книжники" в Москве в 2017 году в серии "Блуждающие звезды". Мы публикуем фрагмент из нее.

на составляющие. Еще до того, как прийти к ребе и отдать ему записочку, хасид уже все объяснил, а настоящий ребе выспросил у него каждую мелочь. Психиатру нужна только плата. Он смотрит на часы, ожидая с нетерпением, когда же пациент наконец уйдет. Экспедиция души, как я ее понимаю, это обновление хасидизма. Если у тебя есть ребе, это, конечно, хорошо, да не совсем то. Когда Коцкий ребе удалился от мира на двадцать лет, его хасиды ездили друг к другу. Проводили вместе тиш, обсуждали ситуацию и искали из нее выход. Коцкий хасид мог рассказать, что помещик не желает продлевать ему аренду, жена бранится, у него появляются опасные мысли во время молитвы, крыша в доме протекает, ему трудно подыскать жениха дочери, он страдает от скудоумия, и ему нужна новая атласная капота, потому что старая расползлась по швам. Ты, Хаимл, знаешь, что твой дед ездил к ребе Менделе?

- Знаю, знаю.

- Если знаешь, то что ты мне голову морочишь с психоанализом? Фрейд - гений на свой лад, но его понимание однобоко, он по сути своей такой же доктор, как другие. Человек сам по себе не страдает от Эдипова комплекса, но у него может быть вредный начальник, плохой партнер или язва желудка. В придачу ему может угрожать судебный процесс. Если кто-то испытывает страсть к замужней женщине, а она не отвечает ему взаимностью, это тоже повод для расстройства. Необходимо с кем-то поговорить об этом.

- Верно, верно.

- Возьми, к примеру, меня. Я, как говорится, получаю удары со всех сторон.

- Что с тобой, Морис? Что случилось? - спросил Хаимл.

- Чего только нет! Как говорит Йешайа: "Эйн бо метойм: пеца ве-хабуру у-мако трийо"*". Возможно, я принадлежу к худшим из жителей Содома. Разговор о личных проблемах выглядит нелепо, когда все евреи в опасности. Появился новый Аман, и этот Аман занимает место Ахашвероша, деспота. Праведника Мордехая сегодня у нас нет. И Эстер, готовой поститься три дня и рисковать жизнью ради евреев, тоже нет. Наши теперешние эстерки отдают себя не только Ахашверошу, но и Аману. Утешение одно: мировая история движется по направлению к тому, чтобы все больше людей осознали, что все их верования, убеждения, мысли и даже поступки всего лишь игра. Когда человечество это поймет, придет Машиах. Я, Цуцик, пришел к этому выводу, когда был еще ребенком. Это ввергло меня в величайшее одиночество. Мне было не во что и не с кем играть. Вот в чем моя боль.

Цуцик, все они играли: Мойше-Рабейну, Будда, Иисус, пророки и философы. Сам Мойше, сказавший: "Не убий и не прелюбодействуй", велел убивать детей и брать в плен юных девушек. Когда Иисус проповедовал подставлять вторую щеку, он, вероятно, знал, что это только красивые слова. А в чем смысл нирваны? Зачем этика Спинозы, если все предрешиено? Какова ценность рассуждений о категорическом



императиве, слепой воле и сверхчеловеке? Все это игра словами, каламбуры, которые только глупцы воспринимают всерьез. Тот, кто понимает, что это игра, никого не обожествляет и ничего не отрицает. Где написано, что бридж лучше игры в ниточку, прятки или пятнашки? Почему Яхве, а не Баал или Иштар? Может быть, наступит время, когда люди перестанут играть в войну, но эта надежда всего лишь очередная игра слов. Я сделаю шаг дальше в своих рассуждениях: природа тоже играет с нарисованными ею ландшафтами и узорами, украшающими крылья бабочек, лепестки цветов, павлиний хвост, попугаев, тигров и леопардов. Все это игры какого-то космического мальчугана: он отрывает головы солдатикам и другим фигуркам, когда те наскучивают ему.

Правило всякой игры заключается в том, что рано или поздно она надоедает. Солнце не остынет, космический мальчик погасит его в одно мгновение. Если Вселенная бесконечна, как полагает Ньютон (я доверяю ему больше, чем Эйнштейну), существует, должно быть, множество таких мальчиков, а может быть, есть еще божки, ангелочки, черти, серафимчики и гномики. Каждый забавляется по-своему. А раз мы игрушки, то мы и сами должны играть. Я где-то читал - у Андерсена или у братьев Гримм - о лавке с игрушками, которые, как только владелец закрывает магазинчик, затевают игры друг с другом. Оловянный Наполеон командует солдатиками, деревянные кавалеристы скачут на лошадках. Жестяные пушечки

обстреливают крепость. Нам, евреям, хотелось бы вечно играть на свой лад, поэтому мы так боимся смерти. Однако у других игроков все виды игр строятся на смерти и сексе. Учение Мальтуса универсальнее, чем учение Ньютона. Нет большего абсурда, нежели игрушка, которую невозможно сломать, разорвать, потрепать.

Цуцик, нельзя оловянному солдатику осознавать, что с ним ведется игра. Пока игра длится, он должен думать, что у нее есть некая миссия, цель. Оловянному Наполеону следует воспринимать себя всерьез, иначе он испортит игру. Еще маленьким мальчиком я заметил, что кто-то играет со мной, моими страстями, желаниями и помыслами. С этого момента я стал чужим для самого себя и для окружающих. Мне захотелось участвовать со всех играх: быть евреем и гоем, святым и грешником, искренним и лицемерным, бесконечно серьезным и безрассудным до предела. Мне захотелось молиться Богу и богохульствовать, слушаться родителей и перечить им. Я тихонько посмеивался над всем и вся. И больше всего меня веселил женский пол. Иногда к мужчине на долю секунды приходит понимание, что с ним играют комедию. Свидетельства этому можно найти в "Когелете" и "Иове". Но женский пол слишком практичен, чтобы испытывать такие сомнения. У куколок - вечная "Песнь песней". Отто Вейнингер, безумный гений, верно изобразил их, но он принимал свои идеи слишком близко к сердцу. Он был полуевреем, полунемцем, а это гремячая смесь. Вейнингер не увидел самого интересного, пикантного и смешного во всем этом. Ему не хватило интуиции, чтобы понять, что мир - игра, шутка. Хорошая или плохая, не нам решать.

- Морис, дорогой, что конкретно надо делать? - спросил Хаимл.

- Играть. Я не наигрался в детстве и хотел бы теперь повеселиться на все времена. В самом деле, евреи никогда не хотели участвовать в играх других народов. С самого начала они портили игру. Гоям нужны были идола, которых можно увидеть, поставить у себя дома и использовать по собственному разумению. А евреи придумали Бога, невидимого и неосознаемого. Он сидит где-то на седьмом небе и к тому же it одиночестве. Неевреи обожествляли героев, а евреи проповедовали, что бедняк с разбитым сердцем благороднее Геркулеса. Когда язычники наконец пошли на компромисс и объявили одного еврея сыном Бога, евреи не захотели его признать. Есть такие дети, которым нужно испортить любую игру, и это мы. Но мир мстит нам. Мы и сами мстим себе. Современный еврей уже захотел играть вместе со всеми, но теперь те возгордились. Мировых игр на всех не хватит, и нас охватил голод

после двухтысячелетнего поста. Я лежу ночью в постели и придумываю игрушечный мир: игрушечные боги, игрушечные народы. Игрушечные свадьбы, игротерапия. Я готов превратить в игру даже смерть. За чем же дело стало? Закрываешь глаза, и игре конец. К этому все идет, к этому. Что такое литература? Что такое театр? Даже экономика стала игрушечной. И наука движется в этом направлении. Гитлер и Сталин пытаются затеять игру на тысячу лет, но им этого не удастся. Наступает время, когда игру нужно будет менять каждый день. Как сказано в "Акодмус"***, каждое утро Бог создает новых ангелов. Америка положила начало. Там играют больше, чем в других странах. Этот Сэм Дрейман все время твердит одно и то же: "Хочу сыграть еще разок, пока я еще жив". Нам всем этого хочется. Раз уж время - не что иное как абстракция, пустота, в него можно вместить бесконечное число ощущений. Один глаз смотрит кино, другой - читает книгу. Одно ухо слушает музыку, другое - внимает болтовне возлюбленной или любимого. Одна рука рисует, другая - вырезает по дереву. Даже не руки, каждый палец будет развлекаться по-своему. А чем хуже язык, десны, губы? Где-то сказано, что после пришествия Машиаха день будет длиться неделю или год. А свет дня будет в семь раз ярче сияния солнца. Человек сам способен добиться этого, если перестанет все воспринимать всерьез и осознает, что мы пришли в этот мир ради игры.

Что? Я знаю, Циля, знаю. Я знаю, что пока я сижу здесь и болтаю о пустяках, могут ворваться хулиганы и всех нас перебить. Они будут играть по-своему. Мировая игра от этого не прервется. Где-то существует пламенный котел, куда складывают все сломанные игрушки и делают новые. Тем временем, пока меня еще не расплавили, не перебивай меня. Из всех игр самой интересной остается взаимодействие полов. Всем играм игра. Фрейд ничего нового не открыл. Об этом было известно во все времена. Ты, Цуцик, заглядывал в каббалистические книги. Ты, Хаимл, тоже. Согласно каббалистам, у любого есть суженый. Святой, да благословен Он, состоит в паре со Шхиной, Адам все еще соединяется с Евой, Авраам с Саррой, Агарью и Кеттурой, Яков с Рахелью, Леей, Билхой и Зилпой. В каббалистических сочинениях упомянуты позиции, которые теперь называют извращениями. Комплексы таковыми не являются, они указывают на желание избежать скуки, отведать разных яств, съесть все кушанья, попробовать бесконечное число комбинаций, короче говоря, поиграть во все возможные игры, физические и духовные. Неважно, как их назвать. Не перебивай, Хаимл, что ты хочешь сказать?

- Я хочу сказать, что мне с Цилей никогда не скучно.

- Хаимл, прекрати! - рассердилась Циля.

- Да, Хаимл, ты прав. Я завидую, что у тебя есть такая жена.

- Можно мне еще сказать? - спросил Хаимл.

- Говори, говори.

- Сколько раз мы приглашали тебя переехать к нам. У нас большая квартира. Пока, слава Богу, нам не нужно беспокоиться о деньгах. А ты ошиваешься в какой-то холодной комнатке. Нам тоже неловко. Когда ты приходишь в гости, это праздник. И тебе это прекрасно известно. Мне тоже не с кем поговорить, и Циля всегда одна. Она с удовольствием читает, но сколько же можно читать? Большинство книг, которые она читает, она называет куда не годными и бросает на середине. Мы бы и вправду были счастливы, если бы ты к нам переехал. Если все так, как ты говоришь, мы все в опасности. Так давайте же пока будем вместе. У нас действительно много комнат, и Цуцик мог бы тоже жить с нами. Мы бы проводили время вместе. Лучшей жизни в этом мире я не могу себе представить.

Стало тихо. Файтлзон попробовал затянуться сигарой, но она уже потухла.

- Как правило, когда люди живут вместе, между ними рано или поздно возникает недопонимание. И потом, человеку не может быть постоянно интересно. Как ты этого не понимаешь, Хаимл? Это же элементарно.

- Так не должно быть.

- Должно! Почему Владыка мира отделился от Шхины? Не потому, что храм был разрушен. Они жили вместе и вогнали в тоску небеса.

- Морис, мы вчетвером не надоели бы друг другу. Мы бы ели, пили, читали, беседовали. Время от времени мы бы путешествовали, может быть, даже за границу.

- А что бы сказал твой отец, услышь он об этом? Он перестал бы посылать тебе деньги.

- Папочка высоко ценит тебя. Он сказал, что ты гений.

- Так и сказал?

- Да, именно так.

- Ну, мы еще обсудим это.

- Хаимл, ты знаешь, что эти угрозы бесполезны, - встряла Циля, - ты просто сотрясаешь воздух. Довольно умолять его. Я дала себе зарок больше не вставать перед ним на колени и не кланяться. Мы друзья. Ближе, чем друзья. Он знает, как мы его любим и как скучаем, но недели проходят, а он даже не считает нужным позвонить. У него десяток или даже сотня других. Я хочу тебе кое-что сказать, Морис, даже не перед Цуциком, а перед Хаимлом. Ты говоришь, что мир - это игра и не нужно ничего воспринимать всерьез, а я перестала тебя воспринимать всерьез. Я не знаю, является игрой этот мир или

нет, но ты тоже не знаешь об этом наверняка. Солнце, луна и звезды не кажутся мне игрушечными. Смерть и болезни, тюрьмы и больницы тоже не выглядят игрушками. Миллионы невинных людей в странах Сталина и Гитлера тоже не играют, а гибнут в страшных муках. Но ты остался ребенком, и все тебе кажется только детской игрой - это факт. Поэтому я все тебе прощаю.

- Циличка, это экспедиция души, а не обычный спор! - горячо возразил Хаимл.

- Да? А что такое экспедиция души? Это все слова. Вот что ему нужно: разными пальцами гладить разных женщин. Ты, Хаимл, знаешь правду. Мы не хотели этого. Я никогда не мечтала, что буду способна любить двух мужчин. Я вышла замуж и решила, что у меня один Бог и один муж. У меня были разные мысли и фантазии, но мало ли что приходит в голову. А он пытается превратить это в систему. Он постоянно приносил нам книги об удовлетворенной свободной любви. Это анахронизм, но кто знает. Все разговоры крутились лишь вокруг этого. Даже величайший коммунистический агитатор не работает с таким усердием. И все с одной целью: разжечь в нас огонь, который не удастся потушить, геенну огненную. Он сулил блага, коих нет на белом свете. Теперь, добившись своего, он отстранился и держится в стороне. А о Цуцике я лучше помолчу.

- Циличка, ты все испортила! - заявил Хаимл.

- В самом деле, Циля. Ты все воспринимаешь на свой счет, поэтому я должен тебе сказать, что... - Морису не удалось закончить фразу.

- А что плохого в личном восприятии? Что такое экспедиция души, если не высказывать все, что приходит на ум? Это твое собственное определение. Морис, мне не надо было принимать в ней участие. Если тебе, Хаимл, нужен отец-исповедник, исповедайся перед ним. Цуцику я, конечно, не могу диктовать, что делать. Я не актриса, как Бетти Слоним, и моя жизнь не игра. Морис, ты меня серьезно разочаровал, дальше некуда. Мне никогда не узнать, что именно ты хотел от меня и зачем так усердствовал, чтобы свести меня с ума. Ты поиграл с нами. Ты играл со мной, как кошка с мышкой: хватал и отпускал, снова хватал и снова отпускал, и все только для того, чтобы продлить страдание. Пойду-ка лучше спать, чем слушать все эти разговоры о том, как играть с чужой душой, телом и жизнью. Доброй ночи.

Перевод с идиша
Валентина Федченко

* Нет в нем здорового места: то рана, то ушиб, то гнойная рана (Йешайя, 1:6).

** "Прежде чем я начну" (арам.) - религиозный гимн, который произносят во время чтения Торы на праздник Шавуот.

"ВСЕ, ЧТО ГЛАЗУ ОТКРЫЛОСЬ, ОТКРЫЛОСЬ ДУШЕ"

*"...И ты поймешь по стружке дыма,
И по шуршащему жнивью,
Что жизнь еще необходима,
Что мучаюсь я, но живу.
И ты услышишь лай собачий,
И мой неодолимый зов,
Со мною вместе ты заплачешь.
Разделишь боль мою и кров.
Приди же!
Я его услышал,
Тот голос, тающий во мгле.
Я в самом деле встал и вышел.
Царила полночь на земле.
Мерцали пальмы, словно свечи.
Песок клубился и шуршал.
А этот голос издалече
Все звал и звал, все звал и звал..."*

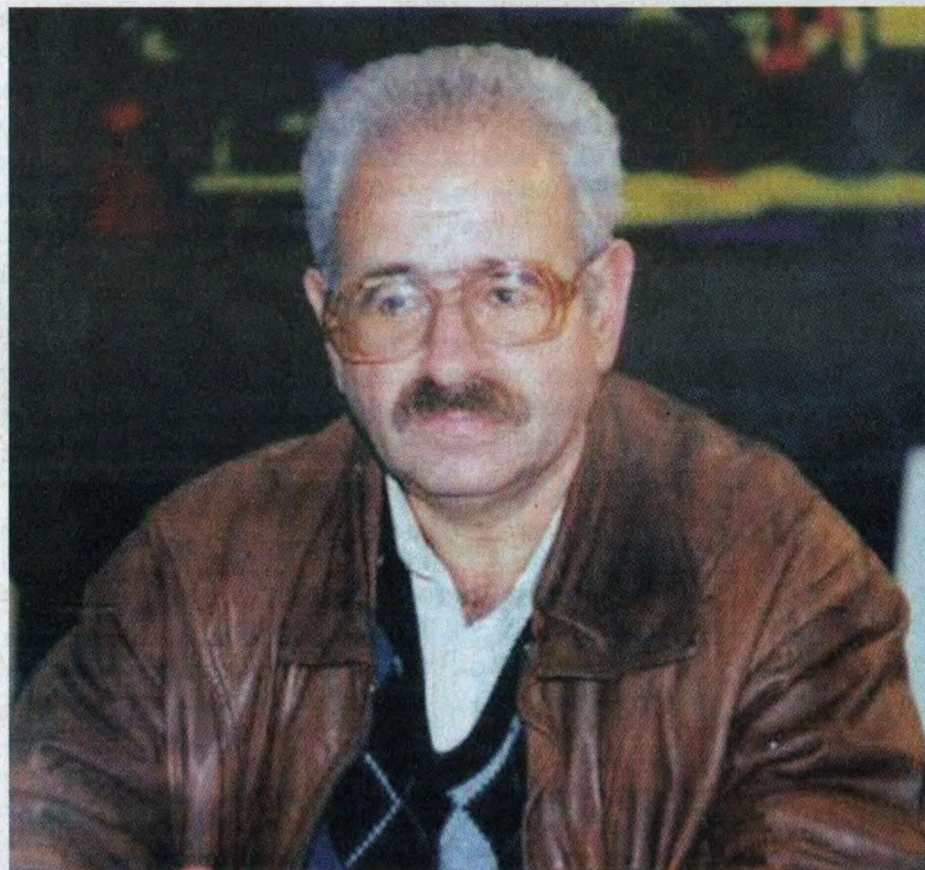
Автор этих стихов - талантливый поэт и журналист, а еще - замечательный человек (что сочетается в творческих людях далеко не всегда) Владимир Добин ушел из жизни 15 лет назад, но голос его слышится и сегодня, призывая вновь и вновь вчитываться в написанные им стихи. А они помогают многое, представлявшееся ранее очевидным, осмысливать заново и делать удивительные открытия. Это ли не подтверждение тому, что жизнь после смерти есть?

С творчеством Володи Добина - журналистским, а еще более - с поэтическим, мне довелось знакомиться, что называется, "по ходу дела". Володя, с которым мы были духовно близки, нередко читал мне по телефону свои новые стихи (а я ему - "по бартеру" свои), и его произведения потом звучали в моих литературных рубриках на израильском радио. Я даже знаю, как писались многие из них - в ночное время, когда все, кроме него, в доме спали, на кухне, простым карандашом, в блокноте, за чашкой крепкого чая, отгонявшего сон.

*"На этой осьмушке листа -
Вся жизнь, что уже прожита,
И даже местечко осталось,
Так много я сделать хотел,
А надо ж, всего-то успел
Какую-то малую малость.
Кому я пытался солгать?
Старался помельче писать,
Чтоб дольше она не кончалась.
Но кто же теперь разберет
Каракулей круговорот -
Все то, что судьбой называлось?"*

Судьба подарила Владимиру, можно сказать так, две жизни - одну в бывшем СССР, другую - после репатриации в Израиль, где Добин обрел берег родного дома, и где поэтический его дар раскрылся в полном формате.

*"Страна моя...
Раздолье ветру.
Куда ни глянь - песок, песок.
Налево - двадцать километров,*



*И море плещется у ног.
Направо - вот она, граница,
И нет уже пути назад,
А скалы, быстрые, как птицы,
Летят, проклятые, летят.
И все же в радости и в горе
Другой уже мне не найти.
А тех, кто с очевидным спорит,
Прости их, Господи, прости..."*

Мы с Добиним участвовали не раз в благотворительных литературных вечерах, сборы от которых перечислялись людям, получившим тяжелые ранения в террористических актах и нуждавшимся в моральной, и в материальной поддержке. Время от времени, встречаясь, беседовали на разные темы, главным образом - о поэтическом творчестве, о том, как соотноситься с масштабами маленькой нашей страны известное утверждение Евгения Евтушенко - о том, что "поэт в России - больше, чем поэт". Владимир был убежден, что в Израиле русскоязычная поэзия останется востребованной и в обозримом будущем. Он писал стихи в каждую свободную минуту, спеша, как будто предчувствуя (а может быть, так оно и было), что жизнь его не будет долгой:

*"Я умру.
Совсем не шутка.
Жутко, жутко.
Я умру.
Жизнь короче промежутка
От утра к утру.
Жизнь короче расстоянья
Между деревень.
Жутко наше расставанье
В негасимый день".*

Позади - временной промежуток в 15 лет, прожитых нами без Володи

Добина, но с оставленными им для нас восемью книгами, вместившими поэмы, образцы публицистической, философской и лирической поэзии. К его стихам приобщилось за это время немало репатриантов, приехавших на историческую родину уже после того, как над нею воспарил душа поэта. Хочется верить, что продолжение следует. Друзья, живите, внемля голосу поэта:

*"Возьми стихи...
Они тебе помогут.
Возьми, как беженец в дорогу
Берет еду.
Возьми стихи...
Не обращай к Б-гу.
Мои стихи тебе, дай Б-г, еще помогут
Осилить путь и пережить беду".*

Из поэзии Владимира Добина

Лица

*Все было, как во сне или в бреду,
И не успел я даже удивиться.
Картинной галереей - на ходу -
Вдруг стал автобус: лица, лица, лица...*

*Какой-нибудь израильский Рембрандт
Сумел бы их запечатлеть навеки -
Пылились бы портреты до утра
В тиши музея и библиотеки.*

*Прости меня - я с кистью не в ладу.
Бывает мне послушно только слово -
Одно наиточнейшее найду,
И мира вдруг откроется основа.*

*И я увидел: в перекличке лиц
Ликует жизнь, любовно повторяя
Изгиб бровей или длину ресниц,
И локонами скулы округляя.*

*Еще увидел девочки глаза -
Такие ж точно рядом, у старухи:
Застыло время на ее часах,
И неподвижны стынувшие руки*

*Иссиня-белые, как вылинявший лед,
Когда пора уже ему растаять...
И от забвенья даже не спасет
Хваленая немеркнущая память.*

*Что это было?
Я не знаю сам.
Как будто прикоснулся к небесам.*

*В сквере, около фонтана,
где лежит пушистый снег,
ходит-бродит рано-рано
одинокий человек.*

*Хоть и холодно, однако
он в пальтишке налегке.
Одинокая собака
у него на поводке.*

*Остановится прохожий
в изумлении на миг:
боже, как они похожи -
пес озябший и старик.*

*Много лет прошло, однако
вижу: только рассветет,
одинокая собака
одинокого ведет.*

*Ты глобус в покое оставь - не верти:
там эту страну все равно не найти.
Полоска вдоль моря, что еле видна,
велика наша с тобою страна,
вся - между покуда неясных границ,
вся - из ожидания и радостных лиц,
из горя и страсти, и воли Его -
а больше не надо уже ничего,
чтоб жить
и детей долгожданных рожать,
и родиной эту страну называть.
А глобус...
Что глобус? Верти - не верти,
нам места другого себе не найти
на этой Земле, где не может еврей
ничем расплатиться,
лишь жизнью своей.*

*Ты прав, конечно:
надо быть идиотом,
чтобы оставаться в доме,
когда он охвачен пламенем.*

*Ты прав, конечно:
надо быть ненормальным,
чтобы жить в стране,
которая для всех прочих -
кость в горле.*

*Ты прав, конечно:
надо быть евреем,
чтобы вопреки всему
держаться за свой Израиль.*

*О, Господи,
не оставь нас, грешных:
мы знаем,
где и ради чего живем.*